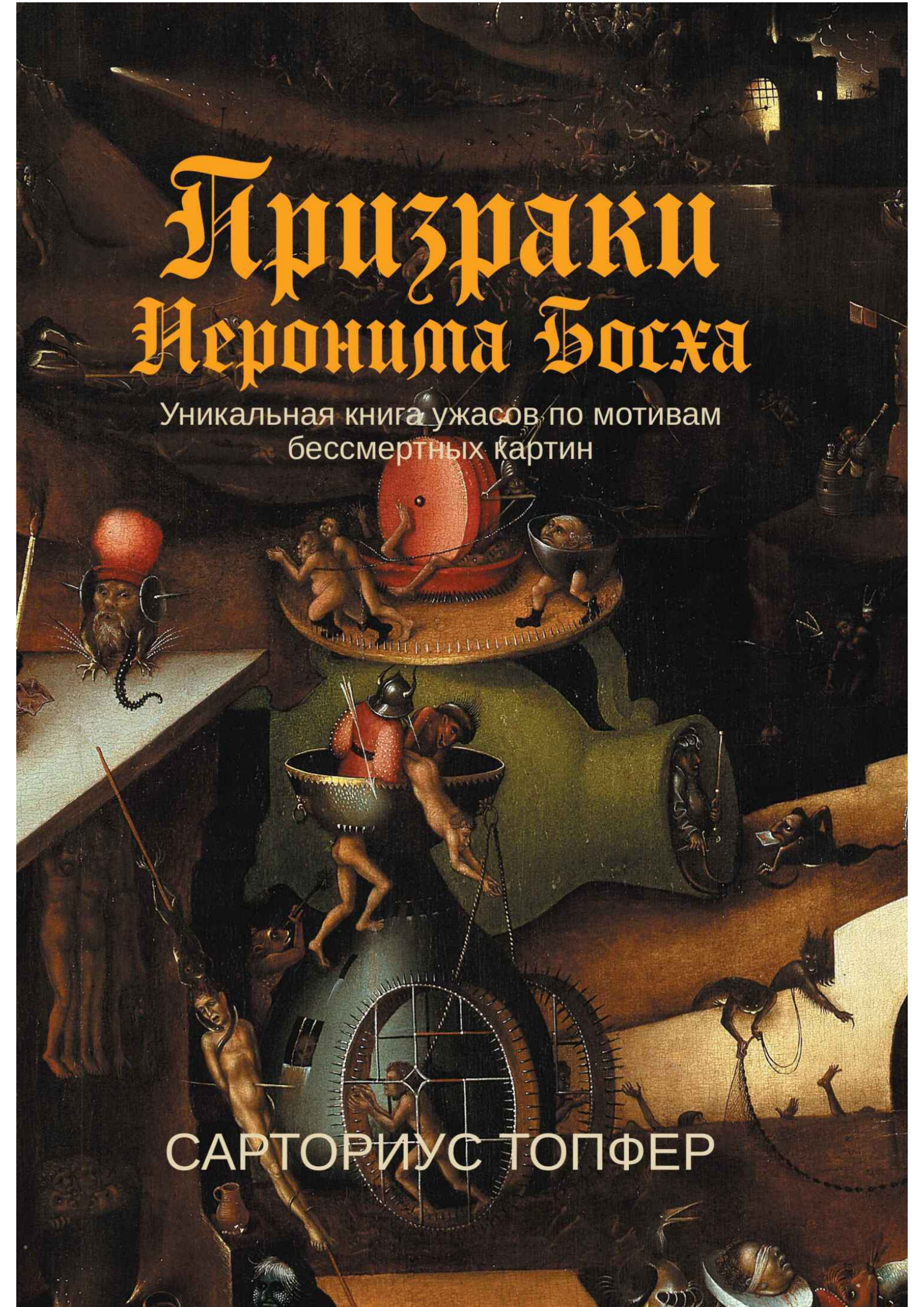


# Тризрак Вероника Босха

Уникальная книга ужасов по мотивам  
бессмертных картин

САРТОРИУС ТОПФЕР



Интеллектуальный хоррор

Сарториус Топфер

**Призраки Иеронима Босха**

«Феникс»

2015

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2=411.2)-445

## **Топфер С.**

Призраки Иеронима Босха / С. Топфер — «Феникс»,  
2015 — (Интеллектуальный хоррор)

ISBN 978-5-222-40727-1

Из мрачных глубин Средневековья пришла к нам эта история. Веками почитатели искусства восхищались картинами Босха и ужасались запечатленным на них образам. Но никто из них не пытался заглянуть в Бездну, что скрыта за всем известными полотнами. Лишь один не в меру любознательный автор осмелился заглянуть за Грань... и этот поиск завел его куда дальше, чем можно представить в самых страшных кошмарах. Прочтите эту книгу – и вы никогда не сможете смотреть на картины Босха прежним взглядом.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2=411.2)-445

ISBN 978-5-222-40727-1

© Топфер С., 2015  
© Феникс, 2015

## Содержание

Предуведомление	6
Часть первая	9
Часть вторая	26
Лицо жабы	27
Братство арифметиков	44
Часть третья	74
Гибель стихов	75
Конец ознакомительного фрагмента.	79

**Сарториус Топфер  
Призраки Иеронима Босха.  
Уникальная книга ужасов по  
мотивам бессмертных картин**

Опубликовано на английском языке Amityville house Ltd.

Издание на русском языке по договоренности с Andrew Vanskow Literary agency Ltd.  
Все права защищены

Перевод с английского Елены Хаецкой



© Оформление: ООО «Феникс», 2023

© Sartorius Topfer, 2015

© Перевод: Хаецкая Е., 2022

© В оформлении книги использованы иллюстрации по лицензии Shutterstock.com

## Предупреждение

Если вы росли в штате Нью-Джерси среди ребят, которых звали Джек, Том и Пол, но при этом носили имя Сарториус, это был, как минимум, повод задуматься. Не могу забыть, как мистер Эдриэн, наш учитель географии, с указкой в руке тыкал в карту мира и возглашал: «А теперь на вопрос, кто основал город Олбани, нам ответит... Сарториус Топфер!» И с задних рядов доносилось хихиканье Джека, Тома и Пола.



Эту книгу я написал, памятуя о тех голландцах, которые в конце концов переплыли океан и бросили якорь в Гудзоновом заливе. Старые бумаги, сохранившиеся еще с девятнадцатого века, передала мне прабабушка Маргарита Топфер, которую в семье называли Маартъе. До сих пор помню хорошенькую копилку в виде свиньи, которая стояла у нее на камине. Когда

она разбилась, внутри нашлась старинная голландская монета достоинством в один стювер<sup>1</sup>. Я хранил ее многие годы, но когда решил написать историю нашей семьи, начинавшуюся с этого стювера, монета куда-то пропала.

Из бумаг, хранившихся в старой коробке из-под сигар, я узнал наконец, почему мне дали странное имя Сарториус. Я начал писать историю братства Небесного Иерусалима Святого Иоанна Разбойного, и поиски материала завели меня очень далеко...

Хочу выразить огромную благодарность моему литературному агенту Колину Фрейзеру, без которого эта книга не появилась бы на свет, архивариусу Центральной библиотеки города Олбани Лори Галбрейт, всегда готовой помочь с подбором и проверкой материалов и, конечно, моей жене, Марле Топфер, чье терпение и поддержка были безграничны.

---

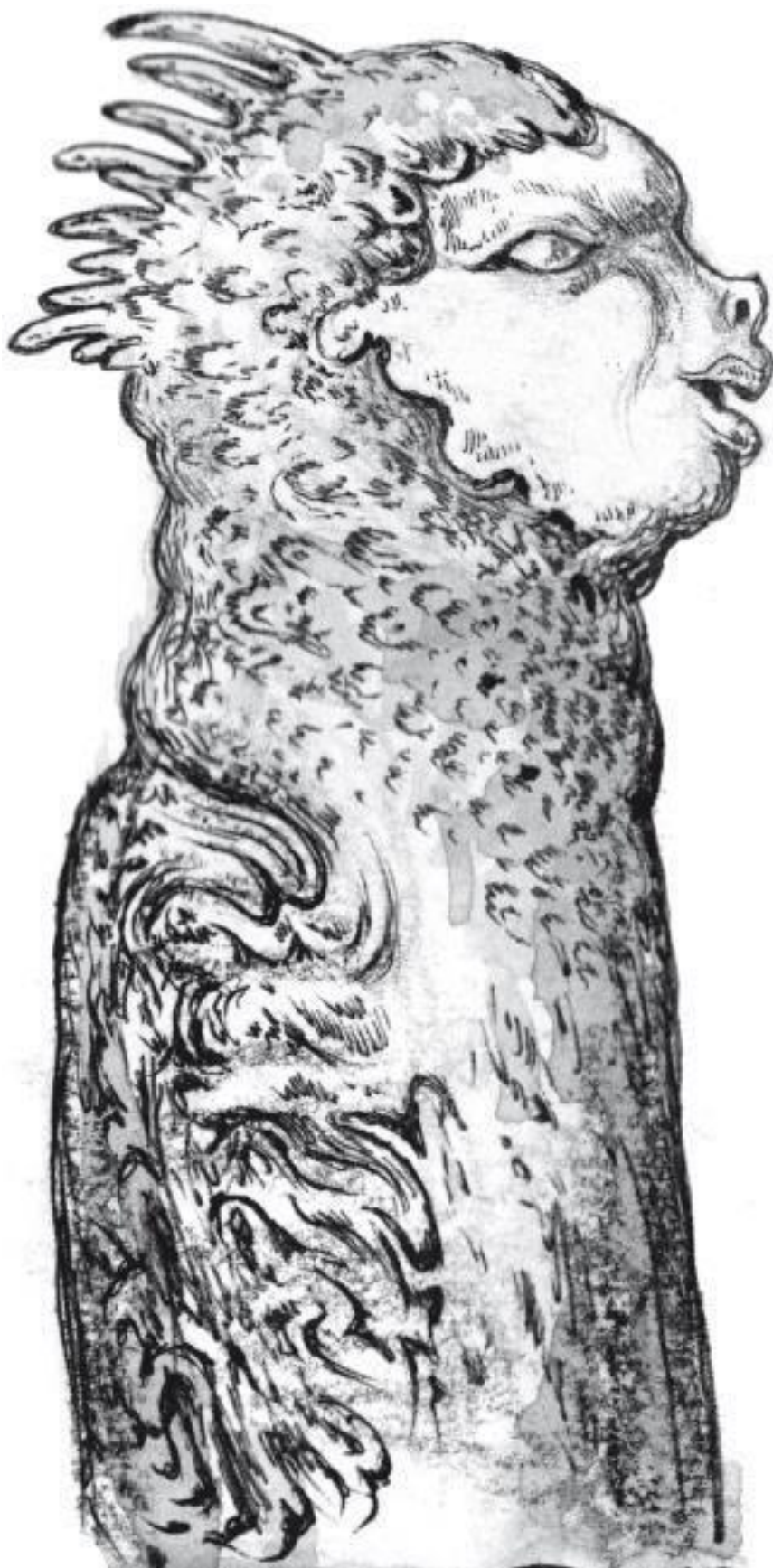
<sup>1</sup> Стювер – низкопробная серебряная монета Нидерландов и нидерландских колоний.

## Часть первая «Поклонение волхвов»



## 1

Метель летела над всей Фландрией, сравнивая неровности, сглаживая невысокие холмы, заполняя рытвины и овражки. Тонкие белые змейки текли по земле, убегая от ветра, и все исчезало под ними: следы колес и следы слез, следы человеческих ног и следы крови. Вместе со змейками бежала по земле странная тишина: все вокруг как будто прислушивалось, пытаясь по каким-то неуловимым приметам понять – началось ли что-то вместе с этим снегопадом или же наоборот, сейчас схватится льдом, покроется снегом и заснет еще на шестьсот лет...



Но потом, разрывая эту толстую тишину, доносился скрип колес и фырканье лошади, и Сарториус вдруг стал захлебываться странным беспокойством. Оно накатывало волнами, вме-

сте со звуками, доносившимися извне. Может быть, это было все из-за жара, который то поднимался, то опадал. Сарториус явно был нездоров, но не вполне понимал, какого рода болезнь его терзает. Возможно, подхватил ее от человека, который помог починить их повозку. Тот человек кашлял и был болезненно-бледен, а белки его глаз были в красных прожилках, губы пересохла.

Случилось ведь такое: повозка, в которой ехали секретарь герцога Эгмонта, Иоганн де Кассемброт, и его молодой помощник по имени Сарториус ван Эрпе, сломалась где-то посреди равнины, так далеко от любой помощи, что даже странно делалось. На этой плоской земле, куда ни посмотри, везде то мельница мелькнет, то островерхая крыша; но вот там, где колесо наскочило на камень, треснуло и отвалилось, вообще ничего поблизости не просматривалось. Только ровная белая земля – докуда видит глаз. Змейки бежали по этой земле, все новые и новые, рождаясь из ничего и убегая в никуда. Сарториус кутался в тонкий плащ, красивый, но, как говорится, подбитый ветром. Ему было холодно, зуб на зуб не попадал; а Иоганн де Кассемброт согревался проклятиями и добрым вином из фляги, но ровным счетом ничего не предпринимал. Стоял, широко расставив ноги, и смотрел то вперед, то назад, а ветер рвал плащ с его плеч, закручивал и закидывал ему на голову. Кассемброт не снисходил до того, чтобы поправлять или удерживать плащ: ветер сам, одумавшись, одергивал полы и опускал плащ на плечи владельца, завивая красивыми складками.

Возница бегал взад-вперед, хватался за голову и за бока, охлопывал ладонями повозку, но колесо от этого не чинилось.

Вот тогда и появился тот человек, поначалу казавшийся невысоким и сгорбленным, словно плащ с капюшоном из грубой холстины прикрывал нечто бесформенное, прыгающее на согнутых ногах. Он как будто вырос из сугроба и покатился к сломанной повозке, все ближе и ближе, и по мере того как он катился, змейки собирались вокруг него, обвивали его ноги, ползли вверх по рукам, к горлу. Наконец он выпрямился – и оказался высоким и тощим. Лицо его, если бы он не корчил рожи, могло показаться молодым и миловидным, однако безобразные гримасы, непрерывно сменявшие одна другую, не позволяли чертам застыть, и, таким образом, рассмотреть его как следует было невозможно.

При виде сломанной повозки он заверещал и замахал руками. Плащ, как крылья птицы, раскинулся и поднял ветер.

– Фу ты, ну что ты делаешь, братец! – поморщился Иоганн де Кассемброт. – И без тебя тут холодно.

– Братцем называешь, а вином не угощаешь! – дерзко отвечал незнакомец. – Как такое понимать прикажешь?

– Да как хочешь; можешь вообще не понимать, – проворчал Иоганн де Кассемброт. Он был в дурном настроении, что и неудивительно.

– Ух, какой злока... – незнакомец принялся кашлять на все лады, поворачиваясь вокруг своей оси: кашляет на север, подпрыгнет – развернется, кашляет на запад, подпрыгнет – развернется, а там и на юг кашляет, и восток не обидит, и так он весь мир обкашлял; видать, тогда и Сарториусу досталось; Иоганн де Кассемброт отбил от этого кашля своей выпивкой.

– Куда вы путь держите? – продолжал незнакомец, сплевывая на снег розовым.

– Тебе-то какое дело?

– Если ответите, подарю вам колесо.

– Откуда ты возьмешь колесо?

– Оттуда же, откуда все беру: из себя.

– Ты, что ли, мир создал?

– Может, и не я, но все для починки этого мира у меня при себе имеется.

Иоганн де Кассемброт рассмеялся: находчивость бродяги-философа пришлась ему по душе.

– Что ж, нужно нам в Хертогенбос, но по пути мы собираемся заехать еще во много других мест.

– А что вам понадобилось в Хертогенбосе?

– Есть у тебя колесо или нет?

– Что ж, – поразмыслив, произнес незнакомый человек, – на главный мой вопрос ты ответил, а все остальное я со временем и так узнаю. Колесо у меня есть, и я его тебе отдам.

С этими словами незнакомец пошарил у себя под плащом и выкатил наружу то, что делало его горбатым: большое колесо, которое как раз подошло для повозки. Возница схватил это колесо и потащил прилаживать, а Иоганн де Кассемброт спросил:

– Почему ты носил колесо под плащом?

– Это мое право: хочу ношу колесо под плащом, хочу не ношу. Уж это-то право никто у меня не отберет, ни архиепископ, ни сам герцог Эгмонт! – отвечал незнакомец.

– В любом случае это оказалось к моей пользе, – признал Иоганн де Кассемброт и вручил незнакомцу стювер. Он был справедливым человеком.

Стювер этот незнакомец, прикусив, быстро сунул под плащ, снова сделался горбат и, подскакивая при каждом шаге, помчался прочь. Змейки бежали за ним, как ручные зверьки, и скоро совершенно скрыли его из виду.

Иоганн де Кассемброт не отличался боязливостью, и поэтому встреча с человеком, кашляющим на все стороны света, не оставила на нем никакого следа. А вот задумчивый Сарториус сильно от нее пострадал и всю дорогу кашлял так, что грудь надрывалась. Но ни мгновения он не жалел о том, что напросился в эту поездку, потому что привез из нее книги, бывшие для него драгоценнее всякого золота.

## 2

Сызмальства Сарториус ван Эрпе был убежден: если окликнуть по имени – человека ли, животное ли, а может, и неживой предмет, – то всякое существо тотчас предстанет перед тобой и покорится. Вот только узнаешь ли ты его в тот миг, когда оно явится, – зависит отчасти от тебя, а отчасти от стечения обстоятельств, подчас удручающе глупого.

Да и с именами на самом деле обстояло не все так просто: известно, что искусство вызывать из хаоса сущее в нем унаследовано человеком от изначального Адама, который, собственно, и давал всему имена. Так было давным-давно, в раю. Но ведь наследство – такая вещь, которую обычно не ценят, достается оно даром, без всяких усилий со стороны наследника; поэтому обычному человеку свойственно проматывать его где ни попадя, а потом ходить по знакомым и плакаться на несправедливость мироустройства. Так вот и Адамово наследство было человечеством по большей части разбазарено. Тем не менее оставались еще и такие люди, как Сарториус, которые искали имена, поскольку знали: в правильной комбинации звуков скрыта истинная власть над миром. Они тратили неисчислимые часы своей жизни на поиск этих комбинаций и порой добивались успеха, обычно небольшого. Но даже и мизерный успех в подобном деле был ошеломителен, ведь даже власть над каким-нибудь тараканом была частью древней, еще райской абсолютной власти первого Адама.

Что касается правильных комбинаций звуков, то они представляли собой изначальную, то есть райскую речь человечества и, разумеется, были безвозвратно утеряны. Мельчайшие осколки их все-таки сохранились в вавилонском, египетском, древнегреческом языках и в самой малой степени – в звонкой латыни, правда, здорово оскверненной похабными песенками школяров. Какие именно части названных языков содержат в себе эти драгоценные осколки – никому не ведомо. Вот почему Сарториус на всякий случай задался целью изучить их все.

Монастырская библиотека немного могла предложить для этих занятий, поэтому Сарториусу следовало как можно скорее расширить свои возможности. И через некое дальнейшее род-

ство с более-менее влиятельными людьми он в конце концов сумел прибиться к свите герцога Эгмонта. Осторожно пройдя по нескольким незначительным головам, Сарториус ван Эрпе сделался младшим секретарем при Иоганне де Кассемброте, доверенном секретаре герцога.

### 3

Дорога до Хертогенбоса заняла почти месяц: Кассемброт не спешил, по несколько дней задерживался даже в самых небольших городах. При каждом удобном случае Сарториус навещал в монастыри или навещал ученых мужей, если таковые имелись, но гораздо чаще маялся и томился на очередном постоялом дворе, поскольку затяжное путешествие не могло предложить ему ничего, кроме черствого хлеба и унылого плоского пейзажа за окном.

Как-то вечером Кассемброт сказал своему помощнику:

– Сдается мне, друг мой, вы отчаянно тоскуете.



Сарториус ван Эрпе оторвался от затрепанного молитвенника, в котором силился разобрать полустертые буквы, накарябанные кем-то на полях очень давно, и посмотрел на своего патрона слезящимися глазами.

Вид Сарториуса – изможденного, с набрякшими веками – огорчил Кассемброта. Сам-то он отличался обилием жизненных сил и обладал немалой крепостью духа. Кассемброт подумал о том, что мало уделяет внимания своему младшему секретарю, а если уж говорить начистоту – почти не замечает его, бездумно сбрасывая на него самые скучные дела. А ведь они товарищи по путешествию, и, быть может, в какой-то момент Кассемброт даже будет зависеть от его преданности и решимости.

Так что же за человек неотлучно находится рядом с ним? Какие думы бродят в его обритой голове с наморщенной кожей лба? Об этом стоило бы хорошенько поразмыслить. Мысль о том, что поблизости день и ночь находится некая неизведанная вселенная, внезапно испугала Кассемброта, поскольку до сих пор он совершенно искренне полагал, что единственная достойная внимания вселенная (помимо его собственной) – это герцог Эгмонт.

– Вы слишком погружены в свои благочестивые штудии, – добавил Кассемброт. – Это может повредить здоровью, а оно у вас и без того довольно слабое. Нельзя пренебрегать своим телом, отдаваясь лишь умственным занятиям.

– Благодарю вашу милость за заботу, – отозвался Сарториус хрипло. Он нарушил молчание впервые за два дня, и потому голос плохо слушался его.

– Выпейте горячего вина, – предложил Кассемброт и оглянулся в поисках служанки.

Надо сказать, что этот разговор происходил на постоялом дворе недалеко от Антверпена. Служанка по непонятной причине отсутствовала, поэтому и горячее вино появиться никак не смогло, так что забота Кассемброта о своем помощнике ограничилась добрым пожеланием.

Сарториус подслеповато моргал с растерянным видом, поскольку вопрос о самочувствии вырвал его из привычного потока мыслей и выбросил, как говорится, на непонятную сушу. Будь Сарториус рыбой, он, конечно, не сумел бы обжиться на этой суше и задохнулся бы от обилия свежего воздуха, но он, по счастью, представлял собой человека, поэтому спустя короткое время пришел в себя.

– Цель моего существования – помимо службы его светлости герцогу, разумеется, – поиск истинного языка, которым разговаривали люди в раю, – пустился Сарториус в объяснения.

Кассемброт допил свое вино и с силой поставил бокал на стол, словно припечатал нечто невидимое владычной печатью.

– Вы полагаете, – заговорил после паузы Кассемброт, – что в раю люди будут разговаривать на особом языке? Я всегда считал, что они там будут изъясняться на латыни.

– Собственно, целью моих поисков является язык не будущего, а изначального рая, то есть погибшего, – оживился Сарториус, который ступил на знакомую почву. – Что касается рая грядущего, то невозможно предсказать, каким языком станут изъясняться там люди и только ли люди там окажутся.

– А кто еще может там оказаться? – удивился Кассемброт.

– Возможно, добродетельные животные, чьи души соединились с душами их владельцев, например кони, – сказал Сарториус, глядя куда-то в полутемный угол комнаты. – А также кентавры, что приняли крещение от Антония Великого в египетской пустыне, и некоторые из псоглавцев. Также раскаявшиеся жонглеры и утонувшие девственницы, если только они не были ведьмами. Язык же кентавров, несомненно, был древнегреческим, однако Антоний Великий понимал их.

– Возможно, кентавры объяснялись с ним жестами, – предположил Кассемброт, которого сильно заинтересовала эта тема.

– Возможно, – сказал Сарториус и скользнул взглядом по молитвеннику. Ему хотелось вернуться к чтению, но, с другой стороны, у Кассемброта возникло желание побеседовать, а пренебрегать желаниям покровителя Сарториус не решался.

Поэтому он закрыл молитвенник и отложил его в сторону.

– Нам также известны случаи, – продолжал Сарториус, – когда некоторые люди возвращались ненадолго к жизни после своей кончины. Чаще всего это случалось, если требовалось указать на убийцу или поведать о том, где закопаны семейные сокровища. В таких случаях возвращенные к жизни покойники нередко использовали адский диалект, который представляет собой не что иное, как кошунственно искаженный райский язык.

– Райский – это до Вавилонской башни? – осведомился Кассемброт.

– Полагаю, в полноте своей он существовал лишь до изгнания из рая, – ответил Сарториус. – Но пока не была возведена Вавилонская башня, многое из этого языка оставалось в обиходе. Конечно, обиход пачкает не только вещи, но и слова, однако...

Внезапно он прервал себя, сочтя, что заходит слишком далеко в своих предположениях.

– Продолжайте, прошу, – сказал Кассемброт, которого заинтересовали измышления младшего секретаря, поскольку на этом постоялом дворе все равно было нечем заняться.

– Собственно, я ищу любые рукописи на древних языках, даже обрывки, – признал Сарториус. – Любой из них может содержать в себе фрагмент давно утраченной райской речи. Но может и не содержать. Этого нам достоверно знать не дано.

Кассемброт окончательно убедился в том, что Сарториус ван Эрпе живет в мире, который не имеет ничего общего с реальностью. Если сам Кассемброт неустанно любит полями, реками, невысокими холмами, мельницами, силуэтами городов и красными крышами, а также селянками в белых чепцах, то Сарториусу все это представляется лишь тенями, призраками, едва ли способными потревожить яркий мир его собственных дум.

#### 4

Хертогенбос в глазах Кассемброта выглядел городом, вполне заслуживающим внимания, небольшим и по нынешним временам весьма благополучным. Сарториус же, глядя на его башни, вдруг напрягся и как будто впервые за все время путешествия по-настоящему увидел ту реальность, что распахнулась перед ним в материальном своем воплощении.

– Что, красивый вид? – спросил Кассемброт, поглядывая на своего помощника искоса.

Тот слегка вздрогнул, как будто его разбудили.

– А вы разве не замечаете? – прошептал Сарториус. Он опять ухитрился не проронить ни слова за весь день и разомкнул уста только сейчас, когда уже надвигался вечер.

– Выглядит прекрасно, – произнес Кассемброт. Он предвкушал теплый вечер, очаг, хороший ужин, поэтому Хертогенбос с самого начала был весьма мил его сердцу.

– Все эти строения, если смотреть издали, похожи на алхимические сосуды, расставленные на полке, – сказал Сарториус.

– Вам чудится в сумерках, а все потому, что вы слишком много размышляете.

– Ничего подобного. Это действительно так, – сказал Сарториус. – И я не сомневаюсь, ваша милость, что в этом городе нас ждут чрезвычайно занимательные вещи.

– Отлично! – сказал Кассемброт и потер руки. – Наконец-то хоть что-то показалось вам достойным внимания.

Повозка катила по дороге по направлению к городским воротам, и никто, включая возницу, не замечал, что к нему прикрепилось пятое колесо. Колесо это было полупрозрачное, но все же внимательный наблюдатель разглядел бы, что это стювер, только очень большой. И лишь у самых городских ворот он, звякнув, отцепился от телеги и растворился в темноте.

## 5

Часовня Братства Богоматери в Хертогенбосе оказалась изящной и маленькой. Меньше и изящнее, чем Сарториус представлял себе по описанию. Войдя, он остановился у самого входа, ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Узкие окна зияли в стенах, как будто их рассекли мечом, и два луча падали на картину, находившуюся сразу за колонной. Резные существа, резвящиеся наверху колонны, скрывались под потолком, и Сарториус предпочел считать, что они вовсе не наблюдают за ним; впрочем, вряд ли они могут сойти с колонны и как-то ему навредить, поэтому он быстро выбросил их из головы.

Его внимание было приковано к картине, изображавшей поклонение волхвов. Собственно, ради этой картины работы мастера Иеронимуса из Хертогенбоса и прибыл в город Иоганн де Кассемброт; он намеревался отвезти ее герцогу Эгмонту.

Мария с Младенцем на коленях сидела перед волхвами, а те надвигались на нее с дарами, неотвратимые, словно несли не подарки, а некую дурную весть. Чем дальше Сарториус всматривался в этот знакомый сюжет, тем сильнее росла тревога в его душе. Что-то было не так во всем происходящем. Красивая молодая женщина на картине выглядела совершенно беззащитной: она очутилась в чьем-то чужом владении, в каком-то потрепанном сарае, где произвела на свет ребенка, – и вот, набросив плащ прямо на голое тело, выскочил на непонятный шум владелец этого сарая.

– Кто таковы? Кто позволил войти?

Был он почти голым, хоть и в окружении слуг. На дороге же, у самой распахнутой двери сарая, топтались какие-то чужеземные люди в богатейших одеяниях и коронах, причем один из них был устрашающе черен. Этот был моложе всех, и он вызвал у хозяина сарая наибольшее удивление.

– Бывают разве такие люди? – закричал он. – Эй ты, откуда ты пришел?

Чернокожий король не отвечал, вообще не замечая хозяина: все его внимание устремилось на красавицу-мать и младенца.

– Что ты делаешь на моей земле? – с новой силой завопил хозяин сарая, теряясь в раздумьях: надо ли дать слугам знак гнать этих странных людей? – Времена-то сейчас весьма беспокойные; мало ли кто заявится... – ворчал он.

Слуги топтались за его спиной, перешептывались, хрустели соломой, скреблись, как мыши. Гаркнет им хозяин – поневоле придется им схватиться с королями. Короли-то заявили сюда почти без свиты, но кто их знает, какими силами они владеют...

А времена и впрямь были весьма беспокойные: на заднем плане картины две армии уже начинали битву, река бурлила, взбитая, как яичный белок, тонкими ногами лошадей и соломинками-копьями. Крошечные армии там, вдали, лишь отсюда выглядели крошечными; для самих же малюток-рыцарей и побоище, и доспехи, и кони, и копыта – все было настоящим; по-настоящему они сражались и по-настоящему умирали, и еле слышными голосами изрыгали проклятия и зывали о помощи.

На крыше сидели любопытные, засовывая нос в прорехи (вот-вот обрушат крышу, негодники), повсюду, куда ни глянь, виднелись серые хари с разинутыми глазами и слюнявыми ртами, а чужеземцы-короли со своими бесполезными дарами как будто и не замечали всего этого, ведь они жили в собственном мире – мире видений, прозрений, хрусталя, благовоний и золота. Что охраняло их в пути, если они пришли сюда без хорошего сопровождения? Как им вообще удалось пройти по этой стране, где одна армия готовится напасть на другую, где реки взбиты ногами коней и растревожены копьями, где дома похожи на алхимические сосуды, в которых бурлят недобрые зелья, где каждая чаша в руке может ожить и загадать неразрешимую загадку, а разбойники встречаются на дорогах чаще, чем бездомные псы?

Эти трое были так же беззащитны, как женщина и младенец. Если бы они вздумали сейчас бежать до города, им пришлось бы миновать две сражающиеся армии и реку. И еще неизвестно, какой прием ожидал бы их в самом городе.

Но этот, подглядывающий, в плаще на голое тело, таил в себе угрозу куда более страшную, чем армии крошечных воинов. Невозможно было догадаться, о чем его мысли и в чем его намерения.

Внезапно Сарториусу подумалось, что ни мыслей, ни намерений у этого полуголового человека вовсе нет; он – пустота, одна лишь оболочка. У безобразных его слуг, у любопытных мужланов, подглядывающих с крыши, – у всех были какие-то простые человеческие думки, а у этого разум как будто был погружен в ледяную, сверкающую пустоту. И в этой пустоте неприятно, даже болезненно для него мерцало теплое, живое пятно – мать и дитя на коленях матери.

Сарториус перевел глаза на чашу в руках одного из королей. На самом деле он, сам того не сознавая, скользил взглядом вслед за солнечным лучом, который перемещался по часовой. Странные существа шествовали друг за другом, опоясывая чашу бесконечным барельефом. Солнце касалось то одной, то другой фигуры, осторожно оживляя каждую из них, и внезапно они действительно ожили и двинулись по кругу, сначала медленно, а затем все быстрее. У Сарториуса закружилась голова, перед глазами потемнело, и он схватился рукой за колонну рядом с картиной. Наверное, в этот момент, теряя сознание, он ударился о полотно лбом, – достоверно ничего не известно, однако, когда он очнулся в прохладе и полумраке подвала под часовней, лоб у него горел как от ожога.

Чей-то голос произнес несколько коротких шипящих слов. Сарториус зажмурился, снова открыл глаза – темнота вокруг него наполнилась слабым теплым светом: где-то в глубине подвала горела лампа. Она горела еле-еле и коптила так, что запах доносился даже сюда; и все-таки это был свет.

Рядом с Сарториусом стоял, кутаясь в красный плащ, тот человек с картины. Его голые босые ноги торчали из-под плаща. Они казались каменными – твердые, какие-то неживые, бледные ноги с длинными пальцами, впившимися в пол, словно когти хищной птицы. На левой щиколотке у него была кровоточащая рана, закрытая стеклянной колбой. Он встретился с Сарториусом глазами и снова заговорил на страшном шипящем языке.

Некоторые слова, как ни странно, были Сарториусу знакомы, и тогда он понял, что с ним разговаривают на языке ада и что язык ада действительно представляет собой искаженную речь изначального, навсегда потерянного рая. И некоторые осколки райского наречия, что сохранились в древнегреческом, вавилонском и даже в замаранной школярами латыни, были Сарториусу известны. Поэтому отчасти он понял, о чем шипит ему полуголый человек.

– Кто ты такой? – спросил Сарториус, мешая слова всех тех языков, что содержали в себе осколки райского. – Почему ты не одет?

– Не о том спрашиваешь, – отвечал незнакомец.

– Это твой сарай?

– Не имеет значения.

– Это же твои слуги там?

– Да какая разница!

– Кто ранил твою ногу?

– Бессмысленный вопрос.

– Почему ты носишь стеклянную колбу как чулок?

– Чтобы не пачкать рану.

– А если ты разобьешь колбу?

– Поранюсь снова.

– Ты не боишься умереть от этого?

– Суть не в этом.

– Почему ты не одет?

– Я одет.

– Где мы находимся?

– Под часовней.

– Зачем мы здесь?

– Скоро поймешь.

– Тут есть нужные мне книги?

– Ты, как я погляжу, совсем дурак, – сказал полуголый и ушел. Его твердые пятки стучали по каменному полу, а красная одежда постепенно наполнялась чернотой и наконец совершенно слилась с нею.

Сарториус еще раз повторил в уме слова адского диалекта, которыми обогатил свой разум, но от каждого произнесенного слова ему становилось нехорошо, и он решил, если получится, поскорее забыть их.

Подвал под часовней оказался обширнее, чем сама часовня, – видимо, он простирался дальше, захватывая часть земли под собором. Сарториус добрал до лампы, держась рукой за стену, чтобы не упасть (голова у него все еще кружилась). Он поправил фитилек, убедился в том, что масла в лампе достаточно (кто ее заправил и кто ее зажег?), и двинулся дальше. И почти сразу ударился ногой о сундук.

Прикусив губу, Сарториус перетерпел, пока боль перестала быть такой жгучей, затем поставил лампу на пол и опустился перед сундуком на колени.

Сундук был покрыт пылью, но все же видно было, что за ним ухаживают: дерево было отполировано, на металлических застежках – ни следа ржавчины. Ключ нашелся поблизости на стене, и Сарториус, не раздумывая, снял его и открыл замки.

В сундуке лежали книги и пачки листов с рисунками. Сарториус осторожно вынул одну из них и едва не выронил: на обложке было написано его собственное имя.



«Сарториус».

На самом деле поначалу Сарториус вообще не понял, что написано на обложке. Линии, прочерченные слабой, дрожащей рукой, складывались в знаки неохотно. Да и что это были за знаки, на какую звучащую речь они намекали, поначалу тоже было не разобрать. Но чем дольше Сарториус всматривался в них, тем отчетливее различал их, и, в конце концов, они как бы сами собой заговорили с ним на латыни. А заговорив, произнесли его собственное имя.

Впервые в жизни он услышал, как его призывают по имени. До сих пор Сарториус сам дерзал всех окликать: кувшин он называл «кувшином», перебирая это наименование на всех известных ему языках; дерево он звал «деревом», а порой – «дубом» или «кленом», но, надо сказать, и «клен», и «дуб», и «ясень», и любое другое наименование не встречало у деревьев такого отклика, как самое простое слово – «дерево», ведь «дерево» – это то, чем все они были изначально. Здесь стоило бы задуматься, росли ли в раю клены, дубы или ясени, или же фиговые и яблоневые деревья. Возможно, там росли некие «деревья» как таковые, не имевшие между собой разделения, – как не имели разделения языки или люди.

Много соображений касательно имен – истинных, искаженных или полностью ложных – имелось у Сарториуса, и он без колебаний использовал все, что успевал осмыслить, и звал – тем самым, быть может, истязал вещи и иные существа.

И вот настал миг, когда точно так же, властно и без всякого сострадания, окликнули его самого.

В этот миг он был беспомощен и обнажен, как младенец, рожденный в чужом сарае, на чужой дороге, рядом с воюющими армиями, окруженный бессмысленными харями. Кто-то, таящийся за этими буквами, кто-то, окликнувший его таким образом, что не отозваться и не подчиниться он не посмел, сделал это ради собственного любопытства.

Дрожащими руками Сарториус раскрыл книгу и, лишь прочитав несколько строк, понял, что это чьи-то записи о сделанном, увиденном и изученном и что этот неизвестный просто-напросто носил такое же имя, как он сам.

Он, этот автор записок, называл себя «братом Сарториусом», «главой ордена Небесного Иерусалима Святого Иоанна Разбойного» – тайного ответвления Братства Богоматери, о котором, как теперь выясняется, недаром вдруг пошла дурная молва.

– Брат Сарториус, – прошептал Сарториус ван Эрпе, – брат мой, я прочту твои записи и пройду по твоим следам, если ты этого хочешь.

Он отложил книгу и взял в руки листы.

Он сразу узнал одного из тех, кто сидел на дырявой крыше сарая и таранился на красивую женщину. Он даже понял, о чем тот думал: «Если у той женщины не нашлось денег на приличный ночлег в городе, то откуда взялись эти роскошные одежды, в которые она облачилась?» Лысый старичок, похожий на святого отшельника с другой картины, сушил над огнем пеленки, и ему единственному было спокойно среди всех этих жизненных нестроений: дожив до своего возраста, он утратил способность испытывать страх или удивляться. Несколько лиц, искаженных болью и яростью, несомненно, принадлежали рыцарям, сражавшимся вдалеке; чуть поодаль валтузили друг друга какие-то простолюдины, и Сарториус вдруг ощутил, как к горлу подкатывает смех: да, эти уродливые человечки были забавны и не опасны даже друг для друга. Он услышал, как они перебраниваются, и вдруг до его слуха донесся лай собаки; но саму собаку не увидел – может быть, она пряталась на каком-то другом рисунке.

Алхимическая посуда или дома, виднеющиеся из-за городской стены, – понимать можно было двояко, – были на следующем листе, а внизу, в углу, плясала, упираясь кулаком в бедро, полная женщина с головой свиньи. В другой руке у нее был разбитый кувшин.

Лампа мигала, когда неизвестно откуда доносился порыв слабого, полузадушенного ветерка; в подвале гулял, на подгибающихся ногах, заблудившийся сквозняк. Во вздрагивающем свете оживали лица, и как будто слышались издали их голоса, говорящие на латыни, на фламандском наречии, на наречии фризском и прочих германских, а также на языке ада и

немного на древнегреческом. Звучали также язык собак, язык птиц, язык свиньи и язык музыкальных инструментов.

Руки Сарториуса задрожали, и листы рассыпались. Лица, зарисовки рук и пальцев, складчатые ткани, несуществующие звери с жирными ляжками, ножи на ножках, говорящие ягоды – все они лежали вокруг Сарториуса на полу, образуя хаос, из которого никому не под силу было создать новый мир, потому что в этом хаосе отсутствовали какие-то очень важные детали, а без них новый мир создать было невозможно.

Сарториус услышал чьи-то шаги и подумал, что возвращается тот, с колбой на щиколотке, но это пришел полубрат здорового роста и проговорил своим грубым голосом:

– Так и думал, что вы сюда провалились. Идемте, помогу выбраться. Тут ходы знать нужно. Кто не местный – тот и согнуть может.

– Погоди, – пробормотал Сарториус. – Книга...

– Сдалась вам эта книга, – с досадой молвил полубрат. – Суньте в сундук.

Сарториус сделал вид, что убирает книгу в сундук, но вместо этого спрятал ее за пазуху. Полубрат то ли притворился, что не заметил, то ли и вправду не заметил. Крышка сундука захлопнулась, и тут Сарториус спохватился:

– Погоди, а рисунки?

Полубрат огляделся.

– Какие еще рисунки? – спросил он, пожимая плечами.

Сарториус закрыл глаза, а когда открыл их, рисунков на полу и вправду не оказалось.

Он наклонился, поднял лампу, погасил ее и осторожно поставил на сундук.

– Кстати, – спросил он полубрата, – а кто здесь зажег лампу?

– Ты, как я погляжу, совсем дурак, – прошептал полубрат и зашлепал сандалиями, направляясь в темноту.

## 6

«Поклонение волхвов» было приказано доставить герцогу Эгмонту, поэтому Иоганн де Кассемброт деятельно принялся за работу. Церковное начальство оповестили, городское начальство тоже было поставлено в известность, Братство Богородицы, не сумевшее дать внятное объяснение своим методам и целям, поскрипело зубами, но возражать не посмело, и Сарториус ван Эрпе вместе с приданным ему в помощь полубратом принялся за работу. Полубрат был вроде бы тот же самый, что вывел его из подземелья, но поручиться за это Сарториус не мог. Тот же виду не подавал. Возможно, впрочем, что это был какой-то другой, потому что в подземелье было темно и лица своего спасителя Сарториус толком не разглядел.

Они вместе взялись за картину и начали снимать ее со стены, но это оказалось непросто. Слуги полуголового, в красном плаще, вдруг метнулись куда-то в глубину сарая. Картина накрепко наклеилась, и забравшиеся на крышу посыпались с нее на землю. Послышались крепкие фламандские ругательства. Сперва Сарториусу подумалось, что ругается полубрат, но у того губы не шевелились, так что единственный, кто мог ругаться, определенно находился где-то внутри картины. Теперь уже все мужланы побежали к внутренней стене сарая и что было сил впились в нее руками, не позволяя отделить полотно от каменной кладки. Пришлось нести длинный нож и отковыривать картину, просунув лезвие между полотном и стеной.



Тут потекла кровь, и картина страшно закричала. Она кричала несколькими голосами одновременно, высокими и низкими, темная красная лужа постепенно собиралась на полу, подтекая к ногам Сарториуса и безмолвного полубрата, безобразные люди в лохмотьях бегали взад-вперед, волхвы вцепились в свои дары, как будто засомневались, стоит ли их отдавать.

Армии всей массой навалились друг на друга, и на копьях скорчились нанизанные тела. И только женщина в царских одеждах оставалась безмятежной в лучах незримого света, и вокруг нее разливалась тишина.

## 7

О книге, украденной в Хертогенбосе, Сарториус ван Эрпе вспомнил лишь в Антверпене, на обратном пути. После того как «Поклонение волхвов» было надлежащим образом упаковано и уложено, а Иоганн де Кассемброт закончил свои дела и отдал приказ выезжать, книга перекочевала из-за пазухи Сарториуса в его дорожный узелок и там оставалась неприкосновенной. Он не то что забыл о ней – просто она сама как-то ускользнула из его памяти. Но вот в спокойной обстановке она вновь попала ему на глаза, и он наконец раскрыл ее.

Некоторые из листов, которые Сарториус отчетливо видел на полу под часовней, внезапно обнаружили в книге: ими были проложены страницы, исписанные неровным почерком. Поначалу другой Сарториус старался писать красиво, но чем дольше он писал, тем более неровным становилось его повествование.

Несколько историй были записаны как рассказы очевидцев: судя по всему, Сарториус пытался сохранить особенности речи людей, о которых писал. Впрочем, все это было недостоверно, как, собственно, и личность этого другого Сарториуса, не говоря уж о созданном им братстве Святого Иоанна Разбойного. И кем он был, этот Иоанн? Был ли он раскаявшимся на кресте разбойником или кем-нибудь еще – это тоже оставалось неизвестным, поскольку само братство сгинуло вместе со своим основателем, и если Сарториус ван Эрпе не перепишет украденную им книгу, то вся история другого Сарториуса так и сгинет в океане хаоса – того самого хаоса, в котором не достает наиболее важных деталей и который по этой причине обречен никогда не превратиться в стройный и красивый космос.

И, может быть, поэтому райский язык также не подлежит восстановлению; впрочем, этот вопрос до сих пор остается спорным.

## Часть вторая «Извлечение камня глупости»



*Из записок Сарториуса, основателя братства Небесного Иерусалима Святого Иоанна Разбойного*

## **Лицо жабы**

Помню день, когда это началось.

Собственно, ничего особенного тогда не произошло. Я даже не был уверен в том, что действительно случилось нечто, о чем стоило бы упоминать, но где-то в глубине памяти засело острое, неприятное воспоминание, которое то и дело покалывало тоненькой иголочкой и мешало нормально наслаждаться обедом.



В тот день мы возвращались из Бреды, куда возили, по заказу аббата Ханса ван дер Лаана алхимическую посуду: семь реторт, пятнадцать колб и пятнадцать же стеклянных шарообраз-

ных сосудов. Все это было уложено в корзины под крышку и тщательно запаковано в опилки наивысшего качества. Ну, возможно, так только говорится, что опилки были наивысшего качества, на самом-то деле это были обычные опилки, но раз уж товар идеальный, и по форме, и по исполнению, и по оплате, то и опилки должны быть никак не меньше, чем герцогские, на худой конец, графские.

До Бреды почти день пути, да там два дня, гостеприимство благочестивого и добродетельного Ханса ван дер Лаана, который с нетерпением ожидал прибытия своей алхимической посуды, долее не простерлось, а затем – обратная дорога, уже налегке и без страха разбить драгоценный груз.

Аббат был тронут тем, что я, мастер, лично доставил ему заказ.

– Как же могло быть иначе? – кланялся я, памятуя о полученной от аббата сумме. – Ваш заказ был слишком важен для нашей мастерской, чтобы я решился поручить его кому-либо другому.

Аббат занимался большой работой, пытаясь постигнуть тайны мироздания, поэтому алхимической посуды ему требовалось много. То и дело она у него взрывалась, покрывалась копотью, утрачивала цельность или прозрачность, и тогда он снова размещал заказ в моей мастерской.

Не то чтобы добродетельный и благочестивый Ханс ван дер Лаан скрывал свои ученые занятия от герцога и своего окружения – и потому не заказывал посуду прямо в Бреде.

Но как бы это выразить? Не все, чем занимается человек, следует предьявлять его ближайшему окружению. Некоторые вещи стоит делать на стороне – просто ради всеобщего спокойствия.

В конце концов простой мирянин, стеклодув по имени Кобус ван Гаальфе, не смеет судить о побудительных мотивах такого высокопоставленного лица, как аббат.

Итак, мы возвращались из Бреды, увозя с собой во чреве все те яства, которыми нас там потчевали. Дорога шла через лес, который постепенно редел, впереди раскрывались поля, и уже видны были стены Хертогенбоса с тонким шпилем собора Святого Иоанна, возвышающимся над ними и указующим, словно перст, в темнеющее, затянутое причудливыми тучами небо.

В последний раз я обернулся на покидаемый нами лес, и тут в кроне ближайшего дерева мелькнуло лицо.

Я видел его совершенно отчетливо, хотя и недолгое время. Следовало бы остановить повозку и всмотреться пристальнее, чтобы при встрече распознать этого человека – если это, конечно, был человек, – но по какой-то причине я этого не сделал.

В одном я уверен точно: мне не почудилось. Если видение длится всего мгновение, оно от этого не утрачивает подлинность. Ему необязательно быть длинным, как месса.

В игре листьев, которые под ветром то переворачивались серебряной стороной, то темно-зеленой, проступали человеческие черты. Округлые глаза, острый крючковатый нос, тонкие сжатые губы. Эти черты, против всякого природного закона, не были заключены в овал собственно лица: подбородок, едва намеченный, тонул в тени, а щеки, скулы и лоб исчезали вовсе, как бы растворяясь среди листьев. И хотя сами листья шевелились и то и дело перекрывали это лицо, само оно оставалось неизменным, и лучше, нежели что-либо иное, доказывало его реальность.

Сидел ли кто-то на дереве, спрятавшись среди веток с какой-то целью? Если да, то зачем он выбрал столь странный способ? Есть ведь гораздо более удобные возможности обрести укрытие. Или это все-таки иллюзия, созданная игрой света и тени?

Не могу объяснить, почему это лицо вызвало у меня такую оторопь. Если бы я рассказал обо всем моей жене, она бы заметила, что у меня свиной окорок застыл в желудке от ужаса. Она всегда любила подшучивать над моей склонностью к обильной трапезе, но в этом случае

ее шутка, к несчастью, была бы вовсе не шуткой, а самой что ни на есть жестокой правдой. Щедрое угощение, которое я увозил из Бреды, обратилось в булыжник в моем животе.

Я чувствовал взгляд этого лица на себе еще почти минуту, пока повозка мчала по дороге. Наконец я нашел в себе силы обернуться и снова посмотреть на то дерево, но оно уже скрылось за поворотом и никакого лица я там больше не видел.

День хорош тем, что поглощает тебя целиком: погружаешься в него, как в печь, переплавляя минуты в заботы, а заботы – в готовые изделия. Подмастерьем у меня старший сын Ханс, а его ровесник, Стаас Смулдерс, ходит в учениках – и будет ходить в учениках еще долго, может быть, до того времени, как я уйду на покой и мое место займет Ханс. Конечно, Стаас очень старается, прямо из кожи вон лезет, но не все решается старанием. Кое-какие вещи от нас не зависят.

Вот так проходит день, за работой, в обществе Ханса и Стааса, а венчается все добрым ужином.

Стаас Смулдерс стоял за плечом жены, когда мы вернулись домой. Водил длинным носом – хотел узнать, не привез ли я ему что-нибудь из угощения. Иной раз я его баловал, случалось такое. Просто потому, что видел его будущую жизнь на десятки лет вперед: не ждет его там ничего хорошего, таланта у него нет, а одним трудолюбием многого не достигнешь. И Ханс, моя кровь и плоть, никогда не позволит ему открыть собственную мастерскую. До конца дней будет выжимать из него силы, заставит работать на себя.

И был бы Стаас честолюбив или талантлив, он бы, наверное, с этим не смирился, но его Господь как-то всем сразу обделил: и удачей, и способностями, и характером. Лучше бы родиться Стаасу собакой или обезьянкой фокусника – и то больше бы зарабатывал и жил бы веселее. Но тут уж, как говорится, всякая селедка на своем хвосте висит. Кем уродился – тем и проживешь.

Семь лет назад в городе был большой пожар. Огонь стоял стеной. В прямом смысле слова. Сколько себя помню, работаю с огнем, но мой огонь – ручной котенок, порой и хотел бы разыграться, да я всегда сумею его укротить и загнать обратно в печь, чтобы не баловался. Огню, как и любому помощнику, нельзя давать потачки: рука мастера должна быть твердой, воля – непреклонной. Иначе сядут тебе на голову. Это и домочадцев касается, и животных, и стихий, подчиненных человеку.

Что бывает, если стихия вырвется на волю и выйдет из подчинения, мы воочию увидели в том году: огонь поднялся, как занавес, от земли до неба, много выше человеческого роста, он раскрыл алчную пасть и начал поглощать дом за домом. Лопались окна, и с дьявольским треском взрывалась внутри домов мебель. Порой казалось, что сквозь рев огня доносится адский хохот, но при любой попытке приблизиться, пламя как будто чуюло человека и становилось еще злее и яростнее.

В толпе я оказался рядом с Тенисом ван Акеном. Тот держал за руку старшего сына, Гуссена, а младший, Йерун, стоял поодаль, чуть раскрыв рот, и неподвижно смотрел на пожар. Рот его был черным, как провал, а в расширившихся зрачках плясал огонь.

– Так выглядит ад, – сказал Тенис.

Гуссен спросил:

– А наш дом не сгорит?

– На все воля Божья, – ответил Тенис. Он хмурился и покусывал губы. Пожар действительно подбирался слишком близко, облизывая одно строение на рыночной площади за другим.

И тут из окон собора Святого Иоанна вырвались языки пламени. Казалось, дракон забрался внутрь церкви и там бесчинствует. Колокол звенел то ли сам собой, то ли понукаемый звонарем. Звонаря видно не было. Более того, колокол все еще звал на помощь, а звонарь, с

окровавленными ладонями и весь в копоти, уже стоял на рыночной площади, и я видел его своими глазами. Может быть, звонил, издеваясь над человеческим горем, сам огонь, толкая колокол раскаленными языками.

Стааса моя жена увидела на пепелище – точнее сказать, не на самом пепелище, раскаленном, как сковородка, а поблизости. Дом булочника сгорел дотла, осталось лишь несколько головешек, торчащих из белого порошка, да еще печь, уже ни к чему не годная. Стаас лежал на мостовой, как брошенная тряпка, и спал. Его рот, глаза, ноздри – все было осыпано гарью, гарь прикипела к ногтям, к углам рта. И поскольку Ханс раньше частенько играл со Стаасом, когда у них выдавалось свободное время, моя жена решила забрать его к нам.

– Муж мой, – заговорила она со мной решительным тоном, – нужно позаботиться о сироте. Жить ему теперь негде, родители его погибли. Один ему путь – в нищие попрошайки.

– Это верно, – сказал я рассеянно, потому что прикидывал, какие работы по восстановлению собора предстоят и какие, соответственно, заказы может получить наша мастерская.

– Или же его заберут бродячие артисты, – продолжала жена, – всякие шарлатаны, жулики, пройдохи, а то и, боже упаси, цыгане.

– Да, возможно, – пробормотал я.

– И вырастет он в такого же жулика, а там и до ада недалеко, – вздохнула жена. – А уж как выглядит ад, мы только что видели...

– Не исключено, что и до ада... – машинально повторил я и отложил книгу, в которой вел подсчеты. – Что? – Тут я как будто очнулся и посмотрел на жену так, словно видел ее впервые. – О чем ты сейчас говорила, Маргрит? Кто попадет в ад?

– Я сейчас говорила, что нужно забрать осиротевшего мальчика к себе и воспитать его в благочестии, иначе с нас потом на Страшном Суде спросится.

– Почему это с нас спросится? – удивился я.

– Потому что мы были соседями и друзьями с его отцом, – отвечала жена. – Муж мой, ведь это не маленькое дело! Допустим ли мы, чтобы юная душа погибла из-за нашей скупости и равнодушия, или же воспитаем из Стааса достойного человека?

– У нас уже есть родной сын, чтобы воспитывать из него достойного человека, – напомнил я. – Занятие это нелегкое, да и обходится недешево.

Маргрит покраснела: после Ханса больше детей у нас не рождалось, и она переживала – вдруг с единственным ребенком что-то случится, кому же я тогда оставлю мастерскую?

– Возьми Стааса в ученики, – сказала она. – Много он не съест, прокормим как-нибудь, да ведь мы и не бедствуем, а лишние руки в помощь не помешают.

– Лишь бы эти руки не разбивали готовые изделия, – проворчал я. – Стекло хрупкое, а мальчишки в этом отношении народ ненадежный.

– А ты не поручай ему готовые изделия, – быстро предложила Маргрит. – Мне тоже не повредит, если кто-нибудь будет таскать мои корзины. Вроде и живем недалеко от рынка, но тяжести носить устаю.

Вот так мы и забрали Стааса к нам в дом. Ханс быстро привык к тому, что бывший приятель по играм теперь у него в подчинении, а Стаас и вовсе этому не противился, кроткая душа. По правде сказать, я подозреваю, что во время этого пожара он немного повредился в рассудке и сделался как будто навсегда десятилетним. Но об этом лучше судить медику или священнослужителю. Со своими многочисленными обязанностями Стаас справляется и никогда не дерзит, а я в свою очередь смотрю на него как на выгодное вложение в будущее, поскольку мне будет что предъявить Господу, когда меня спросят о делах милосердия.

Наутро, когда я спустился в мастерскую, Стаас сидел перед печью и смотрел в ее пустое чрево. Вместо того чтобы подготовить дрова, он просто тарачился в пустоту и ничего не делал. И руки его висели празднично, так, словно никогда и не прикасались ни к какой работе.

Таким я его раньше не видел: он всегда был чем-то занят. Заботясь о его добром воспитании, мы с Маргрит, да и Ханс тоже, постоянно нагружали его поручениями, только успевай поворачиваться. А тут он как будто обмяк и раскис, весь словно бы сполз книзу – еще немного, и растечется в лужицу, – нижняя губа отвисла, глаза бессмысленно выкатились. Он напоминал жабу, меня даже пробрало брезгливостью. В полумраке его лицо было видно плохо, оно как будто расплывалось... И не успел я обратить на это какое-то особое внимание, как Стаас чуть повернул в мою сторону глаза и посмотрел прямо на меня.



Это был тот самый взгляд, который накануне я заметил в листве дерева. И хоть лицо, на котором жили эти глаза, и принадлежало как будто бы человеку, сам взгляд показался мне сейчас вовсе не человеческим. Он смотрел в самую глубину моей души и как будто высасывал, выволакивал из нее ту грязь, что там скопилась за всю мою жизнь. Нет человека, который не согрешит, хотя бы мыслями, но это остается между ним и Богом. Не полужабе в обличии моего убогого разумом ученика глядеть на меня подобным взглядом! Я размахнулся и ударил его по щеке.

– Почему огонь не развел? Чем ты занимаешься?

Он заморгал и как будто вернулся к самому себе. Теперь это был прежний Стаас, услужливый и быстрый.

Он вскочил, поклонился и, потирая на бегу щеку, помчался за дровами.

А я сел перед печкой и, как Стаас только что, уставился в нее. Ее черный зев вдруг напомнил мне полуоткрытый рот Йеруна, когда тот глазел на пожар. Йеруну сейчас уже двадцать, значит, тогда лет было двенадцать. Как и моим мальчикам.

Вернулся Стаас с дровами, и день опять проглотил меня, заставив забыть все эти странные вещи, которые внезапно начали происходить вокруг.

Взявшись за новый заказ аббата Ханса ван дер Лаана, я то и дело вспоминал последний разговор с ним.

В этот раз аббат удостоил меня более длинной и содержательной беседы, чем обычно. Он не сомневался в том, что находится на пороге величайшего открытия, и ради того, чтобы я точнее выполнял его указания, немного приоткрыл мне некоторые двери в свой могущественный мир.

– Все минералы изначально содержат в себе частицы золота, – объяснял он, – и под влиянием небесных тел могут изменяться...

Я попытался достойно поддержать ученый разговор и осторожно осведомился, не об астрологии ли идет сейчас речь, но аббат лишь снисходительно улыбнулся и пояснил, что изъясняется иносказательно и что под «небесными телами» или «планетами» разумеются такие наименования металлов, как Меркурий или Сатурн, а они, в свою очередь, могут быть выражены через некоторые события Священного Писания, поскольку основаны на одних и тех же принципах.

– Чтобы вам было понятнее, дорогой друг, приведу такой пример: наводящее на всех добрых людей ужас избиение Вифлеемских младенцев знаменует выделение активной серы из пассивной ртути, а сера и ртуть, в свою очередь, оживляют мертвое золото и серебро. Таким образом, одни должны умереть, чтобы другие жили, и те, кто умерли, будут жить, оживленные теми, ради кого они умерли. В этом суть, – он откашлялся и немного другим голосом заговорил о том, какой формы сосуда и в каких количествах ему нужны. – Во-первых, для производства фиксированного Меркурия... или, сказать проще, утончения *основного тела*...

Он задумался еще глубже, пожевал губами и наконец, придвинув к себе восковую табличку, попытался набросать на ней очертания необходимого ему сосуда. Стилоса поблизости не оказалось, аббат раздраженно передвинул рукой несколько книг, одну даже уронил на пол, но поднимать не стал. Стилоса все равно не обнаружилось, и он нацарапал на воске ногтем мизинца два грушевидных сосуда с трубками, как бы соединяющими их чрева, или, сильнее сказать, *чревеса*.

– В трактатах его называют “condamphore”, или, в обиходном произношении, – кондафор. Я объясню, что должно происходить внутри этого сосуда, чтобы вы, мой дорогой друг, яснее представляли себе задачу. Стекло, из которого состоит кондафор, должно быть очень стойким, потому что ему предстоит содержать в себе *тело* в течение двух дней, пока идет выпаривание.

– Чье тело? – уточнил я и по взгляду аббата понял, что вопрос только что обнаружил полное мое невежество.

Ханс ван дер Лаан, однако, не тот человек, который, раз начав, остановится и прервет свое объяснение.

– Речь идет об иносказательном *теле*, выражаясь иначе – о металле, пока он пребывает в состоянии порошка, – сказал аббат. – Надеюсь, столь примитивное толкование не слишком оскорбительно для Великого Делания... Далее, понадобится *carabus*, также полностью выполненный из стекла, с широким дном. Данный сосуд получил свое название от длиннохвостого краба, которого отчасти напоминает, и это – разновидность реторты с длинным и широким горлышком. От правильности форм и прочности сосудов зависит результат Делания. Ибо, – тут аббат поднял палец, – фактически Луна или философское серебро, – может быть получено без всяких усилий, но для этого потребуется двести лет на то, чтобы свинец, из которого происходят все металлы, превратился в красный мышьяк, еще двести – в олово, и еще двести – в живое серебро, однако это слишком долгий срок, и поэтому, мой друг, – он повысил голос, потому что я задремал, – необходимы все эти инструменты.

Я перенес рисунок *carabus'a*, или длиннохвостого краба, к себе в книгу учета заказов, после чего мы перешли к обсуждению алембика, или перегонного куба, который арабскими мудрецами назывался “*al-ambiq*”, а древними греками – “*ambix*”, и к которому крепится респираль, или спиралевидная трубка, и который должен быть запечатан наилучшим церковным воском, именуемым, согласно философии, философским воском.

– Впрочем, – спохватился аббат, – церковный воск – это уже моя забота, а ваша, дорогой друг, – все эти прекрасные приспособления, которые не лопнут на огне, даже если в них будет происходить кипячение в течение нескольких суток. Ибо так достигается алхимическое разложение, или гниения, говоря словами ученых – “*putrefactio*”, цель которого – полная победа влаги над остальными стихиями. Символически это представляется как птица, прикованная к жабе, поскольку влажное не позволяет испаряться сухому. “*Solve et coagula*”, то есть «Растворяй и сгущай», вот почему посуда так часто бьется, трескается и пачкается. – Он взял со стола измазанную чем-то темным и липким заячью лапку и рассеянно почесал себя за шиворотом, затем отбросил лапку, посмотрел на меня так, словно только что вернулся из далекого путешествия, и завершил свою речь слегка охрипшим голосом, в котором явственно звучала усталость: – Также понадобятся широкие стеклянные блюда, на которых не останется незамеченной ни одна крупинка *тела*, и обычные колбы, в которых всегда ощущается недостаток.

Из всего вышеизложенного становится понятно, что по возвращении из Бреды я работал с удвоенным усердием, поскольку основательно рассчитывал на щедрое вознаграждение аббата Ханса ван дер Лаана.

Стояли светлые дни начала лета. Близился праздник Святого Иоанна – торжественное богослужение, затем шествие с чудотворной статуей Девы Марии. Все жили в предвкушении этого ежегодного события и на воскресные службы ходили с особенным рвением, как будто это рвение каким-то образом подтолкнет медленное, тяжелое колесо времени и поможет приблизить желанный день. Маргрит, моя округлая жемчужина, сидела на нашей семейной скамье с пухленьким молитвенником в своих пухленьких ручках, ее благочестивые глаза были устремлены на образ Богородицы, а губы шевелились.

Ханс отбывал мессу с тем же старанием, с каким постигал ремесло или работал у печи, он все делал тщательно, зная, что от этого зависит репутация нашей мастерской. Аккуратность и трудолюбие – это тоже талант, что ни говори. Бывают люди ленивые от природы. Что, неужто им нравится, что все их бранят и презирают? Нравится жить в бедности и получать тычки и попреки? Да кому такое понравится! Нет, все дело в таланте. Это моя любимая притча, всегда жду, когда в проповеди до нее дойдет время.

Таланты даются людям разные и в разных количествах. Дальше-то от тебя самого зависит, что ты с этим талантом делаешь, но если у тебя его вовсе нет – тут хоть из кожи вон выпрыгивай, ничего не получится.

Вот у того раба, которому отвалили много талантов, но забыли дать трудолюбие, получилась такая неприятность: закопал свой талант в землю и решил, что хорошо устроился. Я часто думаю о том, что повезло нам, в отличие от тех же иудеев или сарацин: есть у нас Церковь, в которой не только о спасении души растолкуют, но и как на этой земле жить объяснят. С детства меня история об этих талантах поразила, и я хорошо усвоил: ничего в землю закапывать нельзя. И не надейся. Придут и раскопают. Достанутся твои таланты незнамо кому. Этому и сына учил, и Стааса бедного пытался научить, но Стаасу, похоже, зарывать просто нечего. Талант же трудолюбия – такая штука, его вообще не закопаешь. Он все время выскакивает, как собачка из коробки фокусника. Помочь? Починить? Прикрутить? Пособить? Подержать? Поднять? Отнести? Передать? Прыг-скок, прыг-скок, и так до старости. Может быть, зачтется и этот единственный талант и вменится за какие-то другие... У Бога какая-то своя арифметика, хорошо, что человеку она не ведома.



Стаас сидел с самого края скамьи, омертвев. Сколько лет прошло, но он все еще помнил тот пожар, не рассудком помнил, потому что рассудок у него повредился, а утробой, всем своим естеством, словно случилось это не семь лет назад, а только вчера. И до сих пор, как мне кажется, чувствовал в соборе запах гари. Но тут уж ничего не поделаешь, настало воскресенье – и вся семья со всеми чадами и домочадцами направляется в собор.

Мысли мои переходили от последнего разговора с аббатом к украшениям на стенах храма – всем тем жутковатым кривляющимся рожицам, которые должны были назидать в добродетели своим отрицательным примером. Не криви рот – не будь как пятая капитель! Не насмешничай, не скалься – не будь как четвертая капитель! Будешь кидаться грязью в цыган – станешь как седьмая капитель!

Но все они, хоть и выглядели как будто уродскими, на самом деле вовсе не были страшными. Это были домашние уродцы, привычные. Они всегда были одни и те же, они не переходили с места на место и, в общем, никому не могли причинить вреда. Тем более мы с детства знали, что они здесь, наоборот, – для того, чтобы помочь нам становиться лучше. А для самых пугливых всегда оставалась наша статуя Богоматери, вот уж кто в обиду не даст ни мужчине, ни женщине, ни ребенка, ни уродца, ни красавца, ни живого, ни вышедшего из человеческой мастерской!

Наша статуя Богоматери лучше всех знает, что такое— быть несчастной и отверженной, а главное – что такое быть некрасивой.

Лет сто тому назад брат Вик, один глупый монах (наверняка он был тощий и злой на весь свет), носил дрова на церковный двор, складывал их и готовился наколоть, чтобы протопить храм. Таково было его послушание, и уж точно брат Вик ненавидел все те дрова, которые колот, поэтому разрубал их с одного удара, топор так и свистел в воздухе, а дрова, крикнув, разлетались в стороны. И если при этом поленом не убивало ни одного воробья, брат Вик страшно огорчался и еще более люто карал следующее полено.

Вот так он свирепствовал, срывая свой гнев на бессловесной древесине, и уже схватил следующее полено, как на двор вышел настоятель. Произошло это очень вовремя, потому что еще миг – и произошло бы непоправимое, да только Бог поругаем не бывает. То, что к брату Вику было повернуто неотесанной стороной, к настоятелю повернулось стороной обработанной, и он увидел лик Богоматери. С криком бросился настоятель под топор брата Вика и едва сам не подвергся участи быть разрубленным надвое.

Брат Вик проглотил все те слова, которые так и рвались из его нечестивых уст, подавился этими словами, а поскольку были они, слова эти, весьма грязны и чрезвычайно бурливы, то брат Вик посинел, почернел, схватился за горло и забился на земле в судорогах. Настоятель же, отдышавшись, подал ему неразбавленного церковного вина в чаше и похлопал по щекам.

– Уф, – выдохнул наконец брат Вик, когда последнее срамное слово разжевалось в его рту и вытекло со слюной. – Отец настоятель, да разве ж так можно – под топор бросаться!

– Лучше бы меня разрубил твой топор, чем этот кусок дерева, – отвечал настоятель. – Посмотри, что ты едва не уничтожил.

Обеими руками он поднял спасенную древесину, поставил ее стоймя и обернул к брату Вику.

И тот увидел, что на самом деле это статуя Богоматери, а сзади ровное и как будто неотесанное было ее плащом с намеченными складками.

– Уф, – вторично выдохнул брат Вик. – Если это статуя Богоматери, то, думаю, мой топор не причинил бы ей вреда, а вот вы, отец настоятель, могли бы сильно пострадать.

– Теперь мы этого уже, к счастью, не узнаем, – сказал настоятель со слабой улыбкой. – Потому что, боюсь, случись такое – и пострадать мог бы ты за кощунство, которое совершил по неведению и крайнему своему усердию к работе.

Брат Вик знал, что усердие его к работе основано на ненависти ко всему живому и почти ко всему неживому, поэтому ничего говорить не стал, а только еще раз посмотрел на статую и выговорил:

– До чего же она некрасивая!

Той же ночью Богородица явилась брату Вику в тонком сне. Она стояла, окутанная трепещущим светом золотисто-розового цвета, и в этом нежном окружении выглядела еще более грубо сработанной, нежели это показалось брату Вику при первой их встрече на заднем дворе.

– Я тебе кажусь некрасивой? – промолвил ее звенящий голос, и свет задрожал, наполняясь золотом, как меха влагой. Теперь он был уже не невесомым, а как бы отяжелел. – Знай же, на Небесах я прекраснее всех ангелов, а то, что ты видишь здесь – лишь оболочка. Будь у тебя любящий взгляд, ты разглядел бы мою небесную красоту.

Тут брат Вик очнулся. Он был весь потный, со лба у него просто текло, одежда вся промокла так, что ее можно было выжимать. Брат Вик дрожал с головы до ног и прямо не знал, куда себя девать. В конце концов он вскочил и выбежал на двор, а там принялся бегать кругами, как обезумевший пес, и постанывать на бегу. Наконец силы у него кончились, и он упал посреди двора, рядом со злополучным топором.

С того дня брат Вик перестал всех ненавидеть, но и работать начал куда менее усердно, а еще через десять лет скончался, и когда это произошло, церковь наполнилась благоуханием.

Таким образом, Дева Мария, которую особенно почитают в нашем городе, – некрасива. Для нее создают особые ризы, статую обновляют и чистят перед шествием, возобновляют позолоту на волосах, краску на глазах, губах и щеках, но основное остается неизменным: внешний ее облик не благолепен и не прекрасен, и это обстоятельство, подчеркнутое красотой одежд и пышностью процессии, рождает в прихожанах благочестивые помыслы о том, что некрасивое на земле может быть прекрасно на Небе.

Я погрузился в эти мысли, как бы плавая в них и не задерживаясь ни на чем в отдельности, разве что на формах сосудов, которые мне предстояло создать: пузатые *condamphore* взмывали, как полупрозрачные пузыри, в полутемном воздухе, вбирая в себя прихожан и объединяя их в причудливой выборочности, длиннохвостыми крабами карабкались по колоннам *carabus*'ы, и прямо над головами бесконечно вращалась респираль.

Через проход, на правой стороне, помещалась семейная скамья ван Аkenов. С дальнего края, как это было заведено с самого начала, сидели отпрыски четы ван Аkenов – Ян, Катарина, Гуссен, Гербертке и Йерун, далее мать семейства, госпожа Алейд ван дер Муннен, и, наконец, сам Тенис ван Акен. Если пересечь проход между рядами, то дальше, как бы плечом к плечу с Тенисом, сию я, то есть Кобус ван Гаальфе, потом моя супруга, Маргрит ван дер Тиссен, далее Ханс, наш единственный сын, и последним, как уже упоминалось, примостился Стаас Смулдерс.

Такой способ рассаживать людей представляется мне наиболее правильным, ибо, если бы рядом с проходом сидели, соприкасаясь плечами, Йерун и Стаас, они непременно начали бы переглядываться, перемигиваться, показывать друг другу различные «сокровища», которыми бессмысленно дорожат мальчишки, вроде обломка стеклянной посуды, в котором радужно преломляется свет, или свитого из тряпок шара, и все это отвлекало бы их от благочестивых мыслей. Нельзя также не похвалить за предусмотрительность Алейд ван дер Муннен, которая как при производстве на свет детей, так и при рассадке их в церкви, благоразумно чередовала мальчиков и девочек, причем мальчиков – на одного больше.

И даже сейчас, когда мальчики выросли и превратились в юношей, прежний порядок сохранялся в неизменности; и впоследствии, как мы все надеемся, он будет лишь дополнен благочестивыми женами наших сыновей, а там и их сыновьями, и тогда нам самим придется сойти с этой скамьи и перебраться в другую часть церкви, под каменные плиты, где уже похоронены все мои предки и лишь один предок ван Аkenов – отец Тениса Ян. Ван Аkenы, как явствует из их семейного имени, прибыли в наш город из Ахена и, хотя сыновья Тениса родились в Гертогенбосе, до сих пор считаются у нас немного новичками.

Тут мысли мои были прерваны громовым ревом органа – я даже вздрогнул, – который как будто уличил меня в преступной рассеянности и призвал ко вниманию. Я уселся поудобнее и принялся внимать. Орган поутих, успокоив свой гнев, и рассыпался на тихие увещевания, а я вдруг опять почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд.

Сначала я думал, что это трактирщик Ян Масс с дальней скамьи сверлит меня глазами: он уверяет, что я задолжал ему еще с прошлого месяца, о чем я, хоть ты режь меня ножами, совершенно не помню.

Но нет, Ян Масс (я нарочно обернулся и посмотрел на него) был весь погружен в молитву, жилистые руки сплел, глаза полузакрыв и закатил повыше, куда-то к потолку, к капители, на которой толстяк в неудобной позе опирался на огромную, размером с его брюхо, бутылку.

Я уселся поудобнее (Маргрит покосилась на меня с легким беспокойством) и попробовал сосредоточиться. Орган опять повысил голос, так что я втянул голову в плечи... и тут краем глаза наконец увидел того, кто на меня смотрел. Это было совсем близко – сразу через проход.



На плече Тениса ван Акена сидела большая жаба. Она была размером с некрупного кота. Ее сложенные на животе лапки явственно свидетельствовали о принадлежности ее к лягушачьему племени, а голое тельце было заботливо прикрыто платьем в виде колокола с завязками у воротника. Широкая мордочка была также, несомненно, лягушачьей, однако обладала и неко-

торыми человеческими чертами. И чем дольше я всматривался в нее, тем отчетливее становились эти черты. Немигающие глаза глядели и на меня, и сквозь меня, и как будто мимо меня – это был равнодушный взгляд существа, которому не было до меня ровным счетом никакого дела. Его не смущали вскрики органа и пронзительный голос священника, шарканье ног прихожан или чьи-либо любопытные взгляды. Мы все были для него всего лишь пейзажем, в котором оно очутилось при полном своем безразличии и который в любой момент вольно было покинуть.

Спустя бесконечно долго время существо моргнуло, а когда открыло кожистые веки, то глаза его на короткий миг встретились с моими. И на сей раз это был осмысленный взгляд. Длилось это совсем недолго, но успело пробраться в самую глубину моего естества и понатыкать там иголок. У меня вдруг разом заболело все чрево. Происхождение этой боли было, несомненно, сверхъестественным, но открыть данное обстоятельство я никому не мог и потому, с внезапно искаженным лицом, лишь вскрикнул: «Тушенная капуста!» – и устремился к выходу.

Ханс ван дер Лаан завершал один из этапов Великой Стирки, имея перед глазами фигуру Прачки, причем сразу в двух видах – как в недоступно-метафизическом, так и во вполне доступном, то есть низменно-воплощенном в образе Годелив Пеетерс, которая явилась со своей корзиной и собирала по всему дому для стирки запачкавшиеся за минувшую неделю простыни, скатерти и исподнее белье.

– Еще льняной полотенце было, – слышался голос Годелив. – В подвале баки вскипятили? Домоправитель что-то невнятное отвечал, его голос тонул в басистом хохоте Годелив:

– Да я же тебе во всяком деле пособлю, болезный ты мой.

Судя по хохоту, Годелив строила домоправителю глазки, ровным счетом не имея в виду никаких дальнейших уступок его взбрыкивающей мужской похоти, обуздать которую не составит никакого труда, ибо за минувшие годы эта лошадка изрядно поизносилась и ржала более по привычке.

В метафизическом отношении стирка продвигалась так же хорошо и споро, как и стирка профанная, ибо что наверху – то же самое и внизу, и наоборот, и пока цела хрустальная сфера мироздания, целым будет и колесо, что вращается внутри нее.

Таким образом, внутри колбы образовалось тонкое *тело*, подобное золе, оставшейся на месте сгоревшего дома Стааса Смулдерса, и аббат осторожно перенес его на блюдо, помогая себе тонким перышком. Как чрезвычайно уважающий себя алхимик, он пользовался пером лебедя, хотя, в общем, сошло бы перо любой птицы, в том числе курицы, но так низко Ханс ван дер Лаан никогда бы не пал.

Далее он размял *тело* ступкой, снова снял мельчайшие крупинки пером и поместил все в особую колбу с округлым брюшком и узким горлышком. Эту колбу он поставил на золу, которую поджег философским огнем и таким образом разогрел. Колбе предстояло находиться в подобном положении ровно шестнадцать часов, и по совпадению именно столько же времени понадобится Годелив Пеетерс, чтобы выстирать все собранное белье и высушить его на ветру, который тоже, при определенных обстоятельствах, может быть назван философским.

Таким образом, в одном и том же доме, но в разных пластах бытия, происходили сходные процессы, однако инспирировали их различные стихии. В одном случае излишняя влага удалялась и выпаривалась с помощью огня, в других же – с помощью воздуха.

Однако чрезмерное удаление влаги также не идет на пользу *телу* – будь то философское тело, содержащее в себе элементы живого золота, или же будь то тело обычных подштанников, правда, из самого лучшего полотна. Поэтому следует иногда возвращать влагу или же препятствовать ее испарению, для чего к жабе привязывают птицу или, если нет под рукой жабы и птицы, к иному бегущему по земле привязывают нечто иное летающее. Правда, здесь также следует соблюдать осторожность, поскольку, например, крот может превращаться в иволгу и

тем самым создавать подобие иволги. И если к кроту привязать иволгу, то можно внезапно получить двух кротов, а это никоим образом не будет способствовать удержанию необходимой влаги в философском, либо в профанном *теле*.

Пока все эти мысли неспешно, в ровном порядке, и доставляя не меньшее наслаждение, нежели хорошо приготовленный ужин, шествовали в голове аббата, колба начала нагреваться и вдруг пошла трещинами.

Аббат вскрикнул, как от резкой боли: еще мгновение – и работа нескольких недель будет уничтожена! Вот почему он говорил Кобусу ван Гаальфе изготавливать колбы только наивысшего качества и внимательно следить за тем, чтобы стекло, вышедшее из его мастерской, не трескалось и не лопалось. В последний раз он даже приоткрыл Кобусу некоторые тайны, которые, конечно же, остались для стеклодува с его бедным разумом все той же тайной за семью печатями. Впрочем, аббат и не рассчитывал, что мастер поймет хотя бы десятую долю того, о чем ему говорилось в этой комнате. Цель была иной: Кобусу следовало глубоко проникнуться важностью полученного заказа и особенно – необходимостью выполнить этот заказ как можно более тщательно.

Можно вычесть стоимость негодной колбы из общей суммы, но какими деньгами оплатить разочарование, потерянное время, зря израсходованный материал? Некоторые вещи не могут быть измерены ничем, даже деньгами.

С громким хлопком разлетелась на части колба, и, взметнув в воздух раскаленную золу, оттуда выскочила здоровенная жаба.

Размером она была, пожалуй, с хорошо откормленного котенка. Совершенно голая, с непристойным, словно в издевку над человеком, созданным тельцем, она прижала к животу совершенно человечески лапки и уселась на книги, лежавшие у аббата на столе. Передвинулась, чтобы удобнее было сидеть, и снова сложила передние лапки.

Аббат онемел. В первое мгновение он не мог даже пошевелиться. Потом ему пришло на ум, что, верно, происходит удержание необходимой влаги в *теле*, поэтому поднял голову, на полном серьезе рассчитывая увидеть под потолком привязанную к жабе птицу. Однако никакой птицы там не оказалось.

– Годелив! – закричал аббат.

Снизу доносилось громовое пение прачки: она воевала с бельем, погруженным в чан. Белье вертелось в кипящей воде, а прачка била его по всплывающим белым головам большой деревянной колотушкой.

– Годелив! – повторил аббат.

– Весна-а!.. Весна-а и птицы!.. И ласточки кружа-ат! – орала прачка. – И парни, и девицы-ы!..

– Годелив! – взревел аббат.

Пение наконец притихло.

С широким покрасневшимся лицом Годелив показала в дверном проеме.

– Надымили! – сказала она, взмахнув рукой. – Прибраться тут? Стирку закончу, позывите. Все сделаю.

– Там птица у тебя не летает? – спросил аббат.

– Птица? – Годелив озадаченно замолчала. Она думала довольно долго, а потом вдруг расхохоталась: – Так это только в песне поется!

Она еще раз посмотрела на аббата, присела в поклоне и ушла стирать.

Ханс ван дер Лаан перевел взгляд на жабу. Он не понял, видела Годелив это странное существо или нет. Или же для Годелив это существо вовсе не странное?

Чем дольше вглядывался Ханс ван дер Лаан в непонятную гостью, тем больше различал в ней как будто знакомого и понятного.

Вдруг ему стало неприятно, что жаба тут сидит совершенно голая. Он вырвал из книги лист и обернул его колокольчиком вокруг влажного тельца, скрепив собственным волосом. Жаба подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза.

И тут аббат Ханс ван дер Лаан понял, что лицо у жабы – человечесьё. Более того, он понял, чьё оно: это было лицо стеклодува Кобуса ван Гаальфе.

## Братство арифметиков

Для умножения природы необходима сходная природа: например, для того, чтобы родились лягушки, нужны лягушки, а для того, чтобы родились лошади, нужны лошади. То же самое можно сказать и о металлах: чтобы родилось золото, необходимо золото. Причем это верно как в философском отношении, то есть при создании живого золота, оно же Солнце, так и в самом обыденном, иначе говоря, деньги к деньгам, а удача к удаче, и не бывает так, чтобы бедняк женился на богатой или хотя бы попытался это сделать, не вызвав всеобщего осуждения. Бедная тоже за богатого не выходит, поскольку это противно природе вещей. Но если разница в состоянии не очень велика, то брак возможен, и если в одном теле золота немного больше, а в другом – немного меньше, это тоже не будет противостоестественно. Однако женитьба мартышки на собаке бросает вызов самим основам миропорядка, и только бродячие фигляры могут позволить себе глупые шутки на этот счет.

Рассуждая таким образом, не лишним будет вспомнить слова Альберта Великого, епископа из Ратисбона, который в своей *Libellus de Alchimia*<sup>2</sup> недвусмысленно утверждает, что «философия – не для бедняков, ибо...», – пишет он, умудренный жизненным опытом, – «у каждого взявшегося за Делание должно быть достаточно денег, по меньшей мере, года на два». Ибо брак между философией и бедностью так же невозможен, как вышеуказанный брак между собакой и обезьянкой, разве что оба они будут переодеты чертями, но это противно взору любого благочестивого человека, если только он не сильно пьян.

Йоссе ван Уккле был философом, который жизнь положил на то, чтобы служить живым отрицанием всех возможных общепринятых истин. При этом он никогда и ничего не утверждал, но лишь всячески отрицал, и происходило это оттого, что в лежачем виде Йоссе, как никто другой, был похож на знак вычитания, представляя собой длинную тонкую линию. А поскольку он частенько спал на голой земле, то постоянно занимался этим самым вычитанием – на природе ли, посреди ли города. И оказись поблизости другой философ, особенно со склонностью к математике, он без труда составил бы книгу математических примеров на натурфилософское вычитание:

*Камень минус корень дерева.*

*Ручей минус полянка.*

*Дверь минус канава.*

*Прилавок минус прилавок.*

*Скамья минус стена.*

*Колодец минус башенка.*

*Кабак минус угол дома.*

*Девушка минус девушка.*

*Колесная лира минус собака.*

*Кувшин минус человекообразное существо.*

И так далее, и так далее, причем везде, где написано «минус», следует читать «Йоссе».

Из всего вышесказанного явствует, что Йоссе был чрезвычайно худ и то и дело засыпал в совершенно неподходящих для этого местах, поскольку для спанья в подходящих требовалось бы, как подобает уважающему себя философу, обладать запасом денег «года на два». А как раз этого добра у Йоссе никогда не водилось.

<sup>2</sup> «Малый алхимический свод» – трактат Альберта Великого.

Однажды он пришел в город Бреда и там совершенно случайно встретился с аббатом ван дер Лааном. Произошло это потому, что Йоссе, пробегая мимо, забрызгал его грязью и машинально в виде извинения пробормотал стихотворение на латыни; в переводе оно означало:

*Кто постоянно зрит в небесный круг,  
Тому смотреть под ноги недосуг.*

Аббата чрезвычайно это восхитило, и, поскольку в последнее время он до крайности нуждался в собеседнике, бродячий философ получил приглашение посетить аббатскую резиденцию.

– Если только вас не смутит перспектива бесконечного вычитания, – предупредил Йоссе, – я готов составить вам компанию на любое количество суток.

После этого он усердно занимался у аббата вычитанием хлебов, рыб и сладких вин и настолько в этом преуспел, что едва было не превратился в ноль, а это для философа не просто нежелательно, но и недопустимо.

Когда же со всеми этими арифметическими формальностями было покончено, аббат пригласил Йоссе в свой кабинет и предложил ему занять место за столом.

Йоссе без колебаний разместил свой костлявый зад в гладко отполированном кресле и принялся ерзать, поскольку кресло оказалось для него слишком просторным.

Все за этим огромным столом представляло для Йоссе интерес: и треснувшие колбы, и широкие стеклянные блюда, и запачканная чем-то темным и липким заячья лапка, и лебединое перо, такое воинственное и аристократичное, словно вот-вот готово было обернуться рыцарем в остроугольном доспехе.

Книги тоже ему понравились, и он уже принялся было ковырять пальцем застезжку на одной из них, но тут аббат задал ему странный вопрос:

– Вы тут ничего не видите?

Йоссе забрался в кресло с ногами, съежился и сторбился, как еж или горбун, втянул голову в плечи – это он сделал для того, чтобы ненароком не вычесть из аббатских сокровищ какую-нибудь особо ценную вещь – и принялся всматриваться перед собой.

– Я определенно вижу колбы, – сказал он наконец.

– Хорошо, – нетерпеливо кивнул аббат, – а что-нибудь еще?

– Перо... нет, два пера. Одно, кажется, свиное.

– Да, да. Еще что-то?

– Книги.

– Много?

– Целую кучу книг! Они, должно быть, стоят целую кучу денег!

– Правда.

– Вот денег не вижу, – сказал Йоссе с сожалением.

– Я вложил их в необходимые материалы, ибо золото происходит из золота, а серебро – из серебра...

– ...и все металлы – из свинца, а весь свет – от Солнца, – заключил Йоссе.

– Кроме того света, который происходит от Господа, – заметил аббат.

– Аминь, – сказал Йоссе и, вытащив из кошеля завалявшийся там сухарь, принялся его грызть.

– Что еще ты здесь видишь? – настаивал аббат.



Йоссе поковырял в зубах, в последний раз хрустнул сухарем и сказал:

– На полу кувшин.

– А на столе?

– М-м... шарообразный сосуд. На дне налипла какая-то красноватая густая субстанция.

– Это вино засохло, – объяснил аббат.

– Я так и подумал, – сказал Йоссе. – Вероятно, оно произошло путем возгонки в том прекрасном кубе.

– Оно произошло из виноградника, – сказал аббат. – И было оно недурным.

– Полезно для кроветворения, – сказал Йоссе.

– И для аппетита.

– И для работы памяти.

– И для цвета лица.

– Веселит сердце.

– Питает душу.

– Играет во чреве.

– Весьма играет во чреве, – вздохнул аббат. – Но в вашем возрасте, друг мой, это еще не так критично.

– Жабу еще вижу, – сказал вдруг Йоссе.

Аббат даже подпрыгнул.

– Видите? Видите ее?

– Конечно, вижу...

– Почему же сразу не сказали?

– Ну жаба и жаба, – зевнул Йоссе. – Что в этом интересного? Я вам этих жаб могу на лугу сотню наловить, хотите? Хоть весь стол ими покройте в три ряда.

– Я хотел узнать, зрима ли эта жаба для постороннего ока, – пояснил аббат. – Ибо именно этот вопрос меня занимал в первую очередь. Поэтому я и не стал спрашивать вас напрямую, – не видите ли вы здесь жабу, но задавал вопросы обиняками.

– Ясно, – кивнул Йоссе. – Но обладает ли эта жаба какой-либо философской ценностью? И для чего она обернута в лист, вырванный из книги?

– Я одел ее в это платье, чтобы она не смущала взоры своей непристойной наготой, – объяснил аббат, – но более всего меня удивило появление этой жабы. Она возникла из *тела*, которое подвергалось очередной Стирке, разбив при этом колбу отменного прозрачного стекла, закаленного по всем правилам и специально доставленного из Хертогенбоса лично мастером Кобусом ван Гаальфе.

– В этом нет ничего удивительного, – возразил Йоссе. И, поскольку долго сидеть скрючившись было ему неудобно, он потихоньку начал выпрямлять свои длинные ноги, протягивая их под креслом, сначала правую, потом левую. – Подобно тому как птенец, вылупляясь из яйца, разбивает скорлупу, ибо перестает в ней помещаться, и эта алхимическая жаба родилась из колбы и разнесла ее на мелкие осколки при своем переходе из потенциального состояния в активное.

– Не очень-то она активна, сидит тут целый день и даже почти не моргает, – заметил аббат.

В эту секунду жаба высунула длинный язык и смахнула из воздуха муху. Затем все опять замерло.

– И вы будете утверждать, что в этом нет никакого чуда? – воскликнул аббат.

– Все вокруг, на что ни посмотришь, содержит в себе элементы чуда, – сказал Йоссе. – Подобно тому как все минералы содержат в себе элементы золота. И коль скоро золото рождает золото, то и чудо рождает чудо, и эта жаба, взломавшая при своем появлении колбу из самого

лучшего закаленного стекла, тоже, несомненно, является свидетельством или, точнее сказать, *телом* чуда. Правда, золота означенная жаба породить не может.

– В таком случае, как нам поступить? – Аббат смотрел на Йоссе как больной, ожидающий получить от доктора точный рецепт с указанием всех необходимых процедур и препаратов.

– Пожалуй, я заберу это создание с собой да наведаюсь в Хертогенбос, – решил Йоссе. Он сунул жабу в карман и откланялся.

Когда Йоссе находился на половине пути от Бреды в Хертогенбос, а случилось это на второй день после того, как он вычел старый пень из небольшого холмика, из-под которого бил родничок, а затем занялся усердным вычитанием хлебцев, полученных в дорогу от аббата, какой-то человек появился на дороге и уставился на Йоссе голодными глазами.

– Ступай себе, – сказал Йоссе и помахал в его сторону палкой, которую всегда брал с собой, чтобы отгонять собак, отпихивать змей или проверять, не топко ли болото.

– Я не могу уйти, – ответил незнакомец, и в его глазах загорелись тихие красные огоньки. – Я очень голоден.

– Меня-то это как касается? – возмутился Йоссе.

– Ты можешь поделиться со мной тем, что у тебя есть, – предложил незнакомец.

– У меня есть только моя плоть, вот эта, одетая в лист, вырванный из книги, жаба и несколько хлебцев, – сказал Йоссе.

– Этого достаточно, – отвечал незнакомец.

– Ладно, отдам тебе мизинец с левой руки, – решил Йоссе.

– Этого недостаточно, – сказал незнакомец. – Дай мне лучше хлебцы.

– Скажи, – после некоторого молчания спросил Йоссе, – какое арифметическое действие ты сейчас предполагаешь применить?

– Деление, – отвечал незнакомец.

– Стало быть, тебе не чужда философия, – обрадовался Йоссе. – Я занимаюсь только вычитанием, поэтому если тебе известно деление, мы можем составить неплохую пару.

– Лучше бы нам составить тривиум, добавив к нашему союзу Сложение, а еще лучше – квадривиум, увенчанный Умножением, – сказал незнакомец. Он уселся рядом с Йоссе, взял с его ладони несколько хлебцев и принялся жадно их жевать. Красноватый огонек в его глазах погас, и Йоссе понял, что это был не упырь, промышляющий поеданием прохожих, а просто очень голодный человек.

– Меня зовут Петер Схейве, – представился он. – Я иду из Маастрихта, а это очень далеко, и иду я очень долго, поэтому так ужасно проголодался.

– А меня зовут Йоссе ван Уккле, и я жизнь положил на то, чтобы все отрицать, почему и пробавляюсь исключительно Вычитанием, – представился бродячий философ. – А это философская жаба, я называю ее Фромма, потому что она весьма благочестива.

Жаба высунулась из его кармана и с важностью моргнула два раза.

– Каким образом жаба может быть благочестива? – удивился Петер Схейве.

– Это характеризует не всякую жабу, как, впрочем, и не всякого человека, – отвечал Йоссе, – но в случае с Фроммой можно даже и не сомневаться, поскольку она зародилась в колбе на столе у самого аббата ван дер Лаана из Бреды, а это что-нибудь да значит!

– Да уж наверняка, – согласился Петер Схейве. – Что-нибудь это да значит.

– У него там благочестие по всему дому ведрами расплескано, – сказал Йоссе. – Пока я сидел на его стуле, скорчившись шарообразно, и глазел на его стол, заваленный всякими дорожками диковинами, это самое благочестие так и сыпалось, так и валилось на меня отовсюду! Толстым слоем, как жир, намазано было на книги, уподобляя их кускам хлеба. Густым вином оседало на дно всех сосудов, особенно одного шарообразного. Даже в воздухе висело взвесью, так что я дышал, можно сказать, одним благочестием. И все, что исходило из нас с аббатом

через естественные отверстия во время нашей ученой беседы – а предметом беседы была вот эта самая жаба, – также имело в себе дух благочестия.

– Да, – согласился, выслушав этот рассказ, Петер Схейве, – теперь я понимаю, отчего эта жаба зовется Фромма.

Жаба поймала и проглотила очередную мушку, Йоссе снова восхитился ее умом, жаба моргнула ему несколько раз и поправила лапками бумажное платице.

– Возможно, эту жабу стоит считать Сложением, – заметил тут Петер Схейве, – потому что она очень удачно сложила меня и твои дорожные хлебцы, а также сложила и наши с тобой дороги. И если она и дальше будет складывать между собой предметы, ранее бывшие на при-скорбном расстоянии друг от друга, то может получиться нечто очень хорошее, округлое и наполненное.

– В таком случае, – подхватил Йоссе, – предлагаю основать наше Братство Арифметиков и торжественно принять в него нас самих и вот эту жабу!

И они устроили небольшое празднество по этому поводу прямо на поляне, в присутствии старого пня и родника, что пробивался из-под холма.

Судьба Петера Схейве, как и полагается судьбе всякого, кто находится под несчастливым знаком Деления, вела его по жизни таким образом, чтобы тщательно обходить даже намек на возможную удачу, не говоря уж о том, чтобы вляпать своего подопечного прямо в ее мягкое брюшко.

Он родился младшим сыном в семье небедного суконщика, но к ремеслу у него руки не лежали, а братьев у него было ни много ни мало еще пятеро, и все старшие, поэтому, когда настало время делить наследство, Петера взяли за руку и отвели в учение к сапожному мастеру, а там пришлось делить кровать с еще тремя учениками и с ними же делить завтрак, обед и ужин. Работу они, правда, тоже делили между собой, но ее было так много, что казалось, будто ее и не делили вовсе, а всю свалили на Петера.



Потом и вовсе его постигло бедствие, а случилось это в тот день, когда в Маастрихт по какому-то делу прибыл глава пятой камеры редерейкеров из Хертогенбоса и с ним, на несчастье, юная его дочь по имени Аалт ван дер Вин. Аалт была скромна и немного любопытна, поэтому обошла все самые дорогие лавки на центральной площади Маастрихта, перетрогала множество дверных ручек, пощекотала носы всем львам на дверных молотках, а рослая, как

солдат, служанка ходила за ней широким шагом, путаясь коленями в юбке, и то и дело возглашала:

– Аалт ван дер Вин! Посмотримте лучше на полотно для белья. Аалт ван дер Вин! Негоже вкушать эту булку на ходу! Аалт ван дер Вин! Эта лавка вообще не для девиц!

И все такое прочее.

И тут, как на грех, Аалт ван дер Вин вошла в обувную мастерскую, потому что внезапно ей страсть как захотелось посмотреть, какие же башмаки шьют башмачники города Маастрихта и не отличаются ли они чем-нибудь от тех, что шьют в городе Хертогенбосе, и если да, то в чем тонкости различия.

Итак, она вошла и остановилась, моргая после яркого дневного света в полутемном помещении. И при каждом взмахе ресниц все отчетливее различала она стоящего перед ней Петера – в фартуке, с растерянным лицом и башмаком в одной руке. Руку эту он прижал к сердцу, как бы приветствуя башмаком прекрасную гостью.

– Замечательно! – вскричала Аалт ван дер Вин. – Сколько тут красивой обуви!

Она повернулась вокруг и едва не столкнулась с Петером нос к носу. – Почему вы стоите и ничего не делаете? – спросила она. – Есть ли в этом хоть какой-то смысл?

– Нет, – сказал Петер и пошевелил башмаком.

Аалт уселась на скамью, чуть-чуть приподняла подол и выставила вперед ножку.

– Вы должны примерить мне самый красивый башмак, – распорядилась она. – Иначе проклятье падет на вашу голову и будет там лежать ровно семь поколений, покуда не облысеет последний ваш потомок и не сойдет он лысым в могилу.

– Это слишком жестоко, – возразил Петер.

– Что ж, есть возможность избежать плачевной участи. – Аалт притопнула ногой. – Давайте же, скорее спасайте все свое потомство, любезный патриарх.

– Но я еще даже не женат, – пробормотал Петер. – И вряд ли когда-нибудь...

– Что за глупости! – возмутилась Аалт. – Вы непременно женитесь и наплодите кучу детей, половина из которых будет неудачниками, а половина...

Тут лицо Петера исказилось от страдания, ибо Аалт, того не ведая, попала своими словами в самую суть его судьбы: даже в потомках ему предстоит деление – до тех пор, пока итоговое число не станет бесконечно малым, настолько малым, что его можно будет счесть полностью исчезнувшим.

С глубоким вздохом он вынул из сундука самые красивые башмачки из светло-желтой кожи, украшенные небольшой вышивкой. Они стоили целую кучу денег, и вряд ли у легкомысленной девушки эта куча найдется, но больно уж Петеру захотелось увидеть, как они сидят на этих ладных ножках.

Он встал на колени и обул Аалт ван дер Вин в ярко-желтые башмачки. Из благодарности она подняла подол чуть-чуть повыше, чтобы Петер тоже мог полюбоваться. Башмачки сидели на ней так, словно для нее и были сшиты. И тут Петер понял, что ни для кого другого они и не предназначались, а лежали и ждали, пока в лавку вместе с солнечным днем войдет Аалт ван дер Вин и приподнимет подол.

У Петера закружилась голова: таким ясным было это озарение. А истинные озарения по самой своей природе таковы, что сразу бьют по голове и могут привести к потере сознания и даже апоплексическому удару, о чем немало вдохновенных страниц можно прочесть у Герберта Аптекаря в его *Secreta creationis*<sup>3</sup>, а также в других трудах по медицине.

Тут в лавку ворвалась служанка и принялась причитать, что башмачки слишком дорогие и что барышня нарочно заманила ее в зеленные ряды и там бросила, а сама сбежала, ловко нырнув между прилавками с репой и прилавками с брюквой.

---

<sup>3</sup> Секреты творения (лат.).

– И как я только могла поверить, что вы интересуетесь брюквой, Аалт ван дер Вин! – возмущенно говорила она, размахивая руками. – У меня, должно быть, чепчик перегрелся на солнце.

– Меня и в самом деле занимала брюква, – сказала Аалт, смеясь, – но очень недолго. Посмотри, разве не прекрасны эти башмачки? Право, не хочется мне с ними расставаться.

– Ваш батюшка не одобрит такой покупки, – возразила служанка. – У вас еще старые башмачки не развалились.

– Так может, мне развалить их? – спросила Аалт.

– Если вы сделаете это, то будете прокляты, – отвечала служанка. – И попадете в тот раздел ада, где злые черти мучают тех, кто без должного уважения относятся к человеческому труду.

– В таком случае все мы должны избежать проклятия, – сказала Аалт, подмигивая Петеру, который ухватился рукой за стену, чтобы не упасть, поскольку постигшее его озарение вот-вот готово было сбить его с ног.

– И как же мы избежим проклятия? – спросила служанка. – Мне известен лишь один способ – нужно бежать, и бежать немедленно!

– Я знаю другой способ, – отвечала Аалт, – мы должны купить эти башмачки, и купить их немедленно!

Служанка заскрипела зубами, как старое дерево на косогоре, и вложила в руку Петера кошель, а Аалт прошептала ему, уходя в новых башмачках:

– Я живу в Хертогенбосе и выйду замуж только за тебя. Жду тебя через год и один день, и если ты не появишься, меня выдадут за аптекаря Спелле Смитса, а у него вот такое пузо, и в этом пузе он носит все свои пороки!

С этим она поцеловала Петера прямо в ухо и, оставив ему на память свои старые башмачки, убежала.

– Стало быть, – подытожил Йоссе, внимательно выслушав всю эту историю, – для того чтоб привлечь в наше Братство ее милость Сложение, нам нужно попасть в Хертогенбос и разыскать там Аалт ван дер Вин.

– Да, иначе мы попадем в ад, ведь я должен на ней жениться, – объяснил Петер. – Вот почему я украл кое-какие секреты моего хозяина и, не дождавшись даже производства в подмастерье, подхватил ноги в руки и покатился по этой дороге.

Йоссе задумался. Потом спросил:

– А зачем ты украл его секреты?

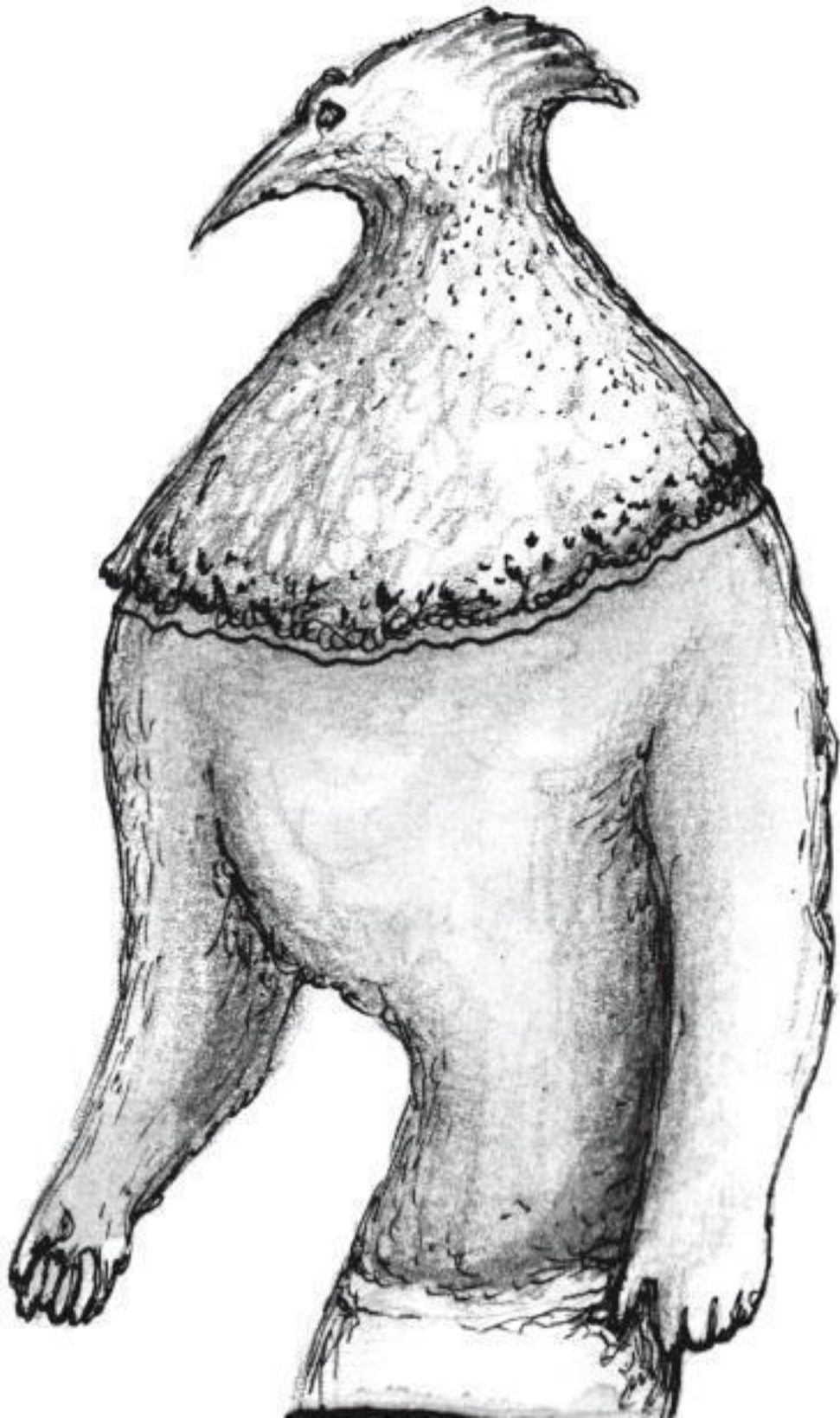
– Чтобы на что-то жить. Ведь если я не смогу хорошенько кормить Аалт ван дер Вин, то попаду в ад.

– У тебя все дороги ведут в ад, – огорчился Йоссе. – Хоть бы одна вела если не в рай, то по крайней мере в трактир.

– Я смотрю на вещи так, как они мне видятся, а видятся они мне разделенными, – отвечал Петер. – Ведь Истинная Любовь состоит в том, что предметы притягиваются друг к другу, и это не зависит от размеров или степени одушевленности предметов. Луна притягивается к Солнцу, золото – к золоту, крот – к иволге, Сложение – к Вычитанию, а Умножение – к Делению.

– Если все так, как ты говоришь, то Аалт ван дер Вин должна достаться мне, а не тебе, – указал Йоссе. – Что крайне нежелательно, поскольку я не желаю содержать эту прекрасную девицу с ее большими запросами и непостижимым интересом к брюкве.

Петер разрыдался и плакал так долго, что жаба успела моргнуть раз двадцать и съела не менее семнадцати мошек.



Тогда Йоссе сказал:

– И если следовать этой логике, то ее милостью Умножением является как раз эта жаба, однако твоя женитьба на жабе также не представляется возможной. Ибо если в *Historia*

*mutationum*<sup>4</sup> Аристотеля и говорится о возможном превращении девушки в жабу, все же большинство толкователей сходится на том, что об этом превращении говорится иносказательно.

– И что нам делать? – сквозь слезы спросил Петер.

– Ну, я тоже жениться на жабе не собираюсь, – ответил Йоссе. – Пока что это единственное, в чем я абсолютно уверен. Давай доберемся до Хертогенбоса и посмотрим, что мы можем сделать для нашего великолепного Братства Арифметиков.

– Думаешь, она ждет меня? – спросил Петер уныло.

– Почему бы нет? Парень ты видный, ремесло у тебя есть, и все, что ты разделишь, Аалт ван дер Вин соберет по кусочкам и сложит обратно. Сложение ведь тоже противоположно Делению, только работает более медленно.

Ободренный таким образом, Петер продолжил путь вместе с Йоссе ван Уккле и его жабой, и по дороге они обсудили немало философских вопросов.

Город поднимался перед ними так, словно кто-то постепенно вытягивал из-под холмов широкий занавес, с нарисованной на нем картиной: впереди мельницы, дальше – стены, а из-за стен виднелся длинный тонкий шпиль собора Святого Иоанна.

Где-то там, в мешанине домов, находилась прекрасная Аалт ван дер Вин в желтых башмачках, и поэтому город казался брату Вычитание и брату Деление особенно прекрасным. Что касается ее милости Умножения, то она по-прежнему сидела в кармане.

День был ярмарочный, а это значит, что кругом царило благое Умножение. Неподалеку от городских ворот в таверне Яна Масса клубился народ, и Йоссе с Петером заглянули туда в надежде найти кого-нибудь, кто готов заплатить за философию и обеспечить Братство Арифметиков чем-нибудь вроде обеда.

Тем временем у Петера уже глаза опять начали светиться красным, а это могло навлечь на товарищей большие неприятности. И в самом деле, Ян Масс заметил эти две горящие точки в темном углу, где сидел и ничего не заказывал какой-то бродяга, и подошел к нему с ножом, которым разделявал баранину.

– Скажи-ка мне, – обратился он к Петеру, – почему это ты занимаешь тут место и не приносишь мне никакого дохода?

– Я охотно принесу тебе доход, когда кто-нибудь сам принесет мне доход, – сказал Петер. – И как только это случится, Господь мне свидетель, я поделюсь с тобой, ибо такова моя натура.

– Какова твоя натура? – не понял Ян.

– Да будет тебе известно, я – брат Деление, поэтому непреложно то, что я с тобой поделюсь.

– А глаза у тебя почему красные? – прищурился Ян.

– Это потому, что я сильно голоден, – отвечал Петер. – Но как только в эту тощую утробу прольется хотя бы немного горячего бульона, красный свет в моих глазах погаснет и они снова сделаются тусклыми, как и подобает глазам добропорядочного горожанина.

– А это кто с тобой? – спросил Ян, переводя взгляд на Йоссе.

– Я брат Вычитание, – ответил Йоссе и вежливо поклонился, привстав. – И со мной моя жаба, ее милость Умножение. Она весьма кругла и носит свою мудрость не внутри, как большинство, а снаружи.

– В каком это смысле? – не понял Ян.

– В том смысле, что мудрость, находящаяся внутри, не заметна и, более того, пригодна к использованию только тем, кто ее проглотил. Мудрость же, несомая снаружи, доступна

---

<sup>4</sup> История изменений (*лат.*).

любому, кто научен грамоте. А если кто не научен, то другие прочитают ему вслух, и таким образом она распространится.

– И что умножает твоя жаба?

– Все доброе и хорошее, а также все, что поддается умножению в метафизическом отношении, – ответил Йоссе.

– Это слишком мудрено, – подумав, сказал Ян. – То есть платить вы не собираетесь?

– Собираемся, – поспешно возразил Йоссе, – но немного позднее. Пока же дай, прошу тебя, чашку горячего бульона брату Деление, не то он тут всех распугает своими красными глазами. А после этого укажи мне, пожалуйста, человека, который нуждается в исцелении от глупости.

Ян оценил все эти речи по достоинству и поставил перед Петером чашку горячего бульона.

– Хочу посмотреть, правда ли погаснут твои красные глаза, – объяснил он и присел рядом.

Петер выпил половину чашки, а половиной поделился с Йоссе. И глаза у Петера действительно погасли.

– С красными смотрелся лучше, – заметил Ян Масс. – Что ж, теперь гляди по сторонам да примечай. Вон там сидит Кобус ван Гаальфе, стеклодув, в изрядном уже подпитии. Денег у него немало, а с головой, определенно, не все ладно. Да будет вам известно, этот беспамятный остался мне должен еще с позапрошлого месяца, однако напрочь все отрицает.

– Пожалуй, такой человек для наших целей не подходит, – решил Йоссе. – Покажи еще кого-нибудь, почтенный мастер горячего бульона, и я назову тебя нашим спасителем.

– Там вот зашел молодой Гуссен ван Акен, – махнул рукой трактирщик. – Он молод и немного рассеян. Сердце у него доброе, и он аккуратно платит по счетам.

– Жаль подвергать такого Делению, – подумав, сказал Йоссе. – Не говоря уж о Вычитании. А вон тот толстяк с лицом озабоченного кабана – это кто?

– О, это Спелле Смитс, как же я мог позабыть о нем! – живо отозвался трактирщик. – Он аптекарь и торгует различными снадобьями и тюльпанами. Говорят, может сварить приворотное зелье, но если спросить его прямо, у него хватает ума все отрицать. Поговаривают, что все свои пороки он носит в своем пузе, вот почему оно у него такое большое. Для верности он привязывает его к себе широким поясом, а то оно, не ровен час, отвалится и покатится само по себе, что было бы крайне нежелательно.

– Стало быть, он держится за свои пороки! – задумчиво проговорил Йоссе.

– Да кто же за свои-то пороки не держится! – живо возразил трактирщик. – Потеряешь свои – привяжутся чужие. Как со своими совладать – этому ты за годы научился, а вот как совладать с чужими-то? Поэтому многие люди и не женятся. Но только не Спелле. Он так уверен в своих пороках, что готов взять за себя жену, а уж она – самая легкомысленная и расточительная девушка во всем Хертогенбосе.

Тут брат Деление весь напрягся и спросил сдавленным голосом:

– Нет ли у этой девушки красивых желтых башмачков?

– Как не быть! Конечно, она щеголяет в этих башмачках. И так дерзко, что весь город, наверное, эти башмачки уже видел. А теперь отвечай-ка, какое тебе дело до этой девушки?

– Желтые башмачки сшил для нее я сам, – сказал Петер, что не было полной правдой. – Что касается остального, то она, сама того не зная, состоит в нашем философском Братстве Арифметиков и является ее милостью Сложением.

– Вот оно что! – протянул трактирщик, который в силу своего ремесла неплохо владел всеми четырьмя действиями арифметики. – В таком случае, конечно, вам стоит поближе познакомиться со Спелле Смитсом. И учти, брат Деление: если вечером я не получу желаемого, я отделю какую-нибудь важную конечность от твоего тощего тела.

Спелле Смитс постукивал указательным пальцем по своему необъятному пузу, и оттуда, как возлюбленная в ответ на условный сигнал, стучал порок чревоугодия. «Хорошо ли тебе было, чревоугодышко?» – вопрошал Спелле, колупаясь ногтями в зубах. «Ах, хорошо, Спелле Смитс, так уж хорошо мне было!» – отвечал порок. Другие пороки толкались и требовали: «И нам, и нам! Когда наш черед-то? Давай уж, не подведи, Спелле!» – «На всех хватит!» – мысленно обещал своим порокам Спелле, ибо был он человек широкой натуры.

И тут справа и слева подсели к нему Йоссе и Петер и заговорили между собой, как будто никакого Спелле поблизости не наблюдалось.

– Ох, брат Деление, – сказал Йоссе, – всю ночь я промаялся, но так ничего и не придумал.

– О чем ты, брат Вычитание? – как будто удивился Петер.

– Да все о той девушке, которая не идет у меня из головы.

– Странное место выбрала эта девушка для своего обитания, брат.

– И не говори, брат.

– Ведь девушки обычно живут в доме у своих родителей, пока не выйдут замуж.

– Но когда они выйдут замуж, то больше уже не называются девушками, а называются женщинами или матронами.

– А каждая матрона живет в голове у собственного мужа.

– Она переселяется оттуда из головы своего отца, – задумчиво проговорил Йоссе. – И если уж рассуждать всерьез, то это – самое странное, что только можно найти в такой вещи, как брак.

– Изначально, брат Вычитание, все было не так, – заметил Петер. – Изначально Господь сотворил Адама, а затем решил произвести Сложение и сотворил еще и Еву.

– Но для этого, заметь, – вставил Йоссе, – Господь произвел Вычитание, а именно – вычел из Адама некую часть его тела, именуемую ребром...

– Или несколькими ребрами...

– После чего при помощи Божественного Умножения сотворил женщину. И таким образом, она изначально находилась в голове у Господа, а затем переселилась в голову Адама.

– Но это переселение произошло метафизически.

– Да, поскольку Господь не может иметь головной боли, в отличие от отца молодой девушки.

– Воплощением чего может служить Миневра, именуемая также Палладой, описанная в *Alexandri Magni gestis heroicis* преподобного Гервасия, который переписал хронику Марцеллина, думая, что это богословский трактат, ибо не понимал в нем ни буквы...

– Миневра, кажется, богиня войны? – вполголоса заметил Йоссе.

– Да, но она родилась из головы своего отца.

– Интересно, как это происходило?

– Голова сначала раскрылась, наподобие устрицы, а потом опять закрылась, и когда это произошло, Миневры там уже не было.



Тут оба уставились на Спелле Смитса с таким видом, словно впервые его обнаружили.  
– А вы что скажете, достопочтенный? – хором осведомились братья Деление и Вычитание.  
– Скажу, что это очень похоже на правду, – важно заметил Спелле, поглаживая свое пузо. – Ибо если пороки я ношу в животе, в чем признаюсь открыто, то в голове у меня в

последнее время поселилась одна девушка. И поскольку она весьма беспокойная и расточительная особа, я просто не знаю, как и поступить.

– Возможно, поможет некая хирургическая операция, – сказал Йоссе. – Видите ли, мы принадлежим к Братству Арифметиков, это вот брат Деление, а я – брат Вычитание. И мы готовы вычесть и отделить от вас все то, что мешает вам существовать в полной гармонии с вашими прекрасными пороками.

– Что ж, мысль эта недурна, – кивнул Спелле. – Но я бы хотел сперва узнать: смогу ли я после этой операции жениться?

– Несомненно, ибо она будет произведена с вашей головой, а отнюдь не с другими частями тела, и поскольку люди женятся не головой, то вашему браку это никак не воспрепятствует, – сказал Йоссе.

Тут жаба вылезла из его кармана, неторопливо прошлась по столу, шурша бумажным платочком, и уселась на блюде среди обглоданных костей.

– Что это? – спросил Спелле, с отвращением глядя на жабу.

– Это ее милость Умножение, – отвечал Йоссе. – Ученая жаба, исполненная благочестия. Свое благочестие она носит не внутри, а снаружи, как вы можете убедиться, и приносит ощутимую пользу, поедая зловредных мошек.

– А, – сказал Спелле, – тогда хорошо. А она не умеет разговаривать?

– Никто из нас не знает в точности, что умеет и чего не умеет ее милость Умножение, – отвечал Йоссе. – Но могу сообщить, что называю ее Фромма.

– Это очень умно, – сказал Спелле. – В таком случае я бы хотел приступить к операции немедленно.

– В таком случае вам следует заплатить нам, – сказал Петер и блеснул красными глазами.

Спелле выложил на стол расшитый кошель и закричал на всю таверну:

– Эй! Эй, люди! Эй! Здешние и пришлые, слушайте все! Сейчас вот эти два лекаря, братья из Братства Арифметиков, брат Деление и брат Вычитание, произведут надо мной хирургическую операцию по извлечению из моей головы всего, чему там не место. Ибо девушке место в доме ее родителей, а матроне – в спальне ее супруга, но никак не в моей голове.

С этими словами он уселся поудобнее и снял с головы шапку.

Ян Масс быстро убрал со стола все лишнее, опасаясь, как бы Спелле Смитс не начал смахивать посуду на пол – водилось за ним такое, когда ему случалось хватить лишку, – а заодно прихватил и расшитый кошель.

Йоссе бросил на трактирщика быстрый взгляд. Ян Масс кивнул, и тогда Петер Схейве попросил:

– Одолжи нам свой нож, добрый трактирщик.

– Охотно, – сказал Ян Масс и вручил ему свой огромный нож.

Вокруг шеи Спелле Смитса обвязали широкую ткань, как если бы тот собирался отобедать целым кабаном или чем-нибудь иным, пускающим жирный сок на одежду трапезничающего. Принесли также воронку, которую Йоссе торжественно водрузил себе на голову, ибо она должна была, по его словам, всасывать из тонкого эфира различные дуновения премудростей и направлять их через узкую трубку-уловитель прямым ходом в его голову, тем самым назидая хирурга в его метафизической хирургии.

Потом еще принесли выпить, и Йоссе осушил кружку пива, не отрываясь.

Потом опять принесли пива, на сей раз к нему приложился Петер, а тем временем жаба перебралась к Петеру на плечо и также принялась следить за происходящим. Время от времени она ловила зловредных мошек и тем самым приносила обществу пользу.

Йоссе осторожно постучал ножом по гладкой голой коже головы Спелле. Звук раздался очень звонкий.

– В этой части головы никого нет! – объяснил Йоссе и переместил нож немного вправо. Он вновь постучал по голове Спелле.

Собравшиеся затаили дыхание: —такого они еще не видели. Особенно их занимали две вещи: во-первых, жаба, и, во-вторых, момент, когда голова Спелле расколется надвое. Многим любопытно было, что же там окажется внутри. Предположения высказывались разные, но ни одно не было для Спелле лестным.

Наконец послышался глухой звук, и Йоссе торжествующе вскрикнул:

– Вот оно!

Жаба моргнула. Петер допил пиво. Ян Масс пересчитал деньги и остался доволен.

Раздался громкий «тюк», потом еще один «тюк», из головы Спелле потекла кровь, но ее было совсем немного. Йоссе прикрыл рану воронкой, которую снял со своей головы, и запустил руку в образовавшееся отверстие.

– Благие эфирные эманации, высосанные моим разумом и затянутые в эту воронку, таким образом войдут в голову Спелле, вытесняя то, чего там не должно быть, то есть образ молодой девушки, – объяснил Йоссе.

С этими словами он вдруг вытащил из воронки небольшой, очень жеваный цветок тюльпана.

Толпа вокруг снова ахнула, а Йоссе строгим тоном обратился к Спелле:

– Ты ввел нас в заблуждение, стараясь казаться более мужественным, нежели ты есть на самом деле!

– Я не вводил, – простонал жалкий Спелле. Живот у него так и ходил ходуном: пороки, возмущенные слабостями грешника, норовили оторваться от него. – А ну цыц! – гаркнул на них Спелле, и пороки затихли. – Я действительно помышлял об этой девушке.

– Куда больше помышлял ты о тюльпанах, которые намеревался продавать на этой ярмарке, – сурово молвил Петер и мигнул Яну Массу, чтобы тот возобновил пиво в его кружке.

– Это правда, – признал Спелле. – Правду говорят, истинные мысли утаить трудно. Но тюльпаны я хотел продать не просто так, а ради того, чтобы жениться на той девушке.

– Что ж, иди и продавай свои тюльпаны, – разрешил Йоссе. – Теперь они переместились из твоей головы к тебе в руку, а это означает, что они созрели и вылупились и готовы обратиться в деньги.

При слове «деньги» глаза Спелле блеснули желтым, а глаза Петера блеснули красным. Спелле выбежал из трактира, роняя на ходу капли крови, вытекавшие из его головы, а Йоссе бережно снял со стола свою жабу, а Петер подобрал цветок тюльпана и расправил пальцами его острые белые лепестки, похожие на зубки Аалт ван дер Вин.

В это же самое время Антоний ван Акен обсуждал с хранителем собора Святого Иоанна, которого звали достопочтенный Мелис ван Бухем, как именно должна выглядеть новая люстра для собора и нужны ли этой люстре оленьи рога или же она может быть увенчана чем-нибудь еще. Антоний быстро чертил на листе оленьи рога и разные завитки, а младший сын Йерун в задумчивости стоял рядом и следил за движениями отцовских рук.

У Йеруна была одна особенность, которую он старался никому не показывать: дело в том, что с раннего детства левой рукой у него получалось все делать лучше, нежели правой. Памятуя о том, что левая – это сторона дьявола, благоразумная мать сразу стала переучивать младшего сына. Возьмет он ложку в левую руку – переложит в правую. Поправит волосы левой рукой – тотчас растреплет и заставит поправлять правой. И так постепенно Йерун научился делать все одинаково хорошо и левой рукой, и правой, а это свидетельствовало о том, что натура у него была незаурядная. Потому что заурядная натура научилась бы все делать одинаково плохо, что левой рукой, что правой, а иные настолько в своей заурядности преуспевали, что даже если

бы они все делали ногами – и то это мало бы отличалось от работы руками. Но к Йеруну все это не имело отношения.

Разные люстры как будто сами собой вырастали на бумаге, и Йерун тихо любовался ими, как бы впитывая в себя эту красоту. Антоний ван Акен был невысокого роста, коренастый, пальцы у него были короткие, мясистые, светлые волоски на тыльной стороне указательного и среднего пальцев выделялись на фоне красноватой кожи. Его работы всегда были уверенными, ни в одном штрихе не замечалось ни сомнений, ни каких-либо колебаний, они словно бы разрезали пространство, подобно тому, как стряпуха острым ножом разрезает капусту на множество тонких полосок. Несколько самых разных люстр с оленьими рогами уже возникли из небытия, и у каждой было какое-то свое особенное лицо, обрамленное локонами, завитушками и рогами. Одна казалась лукавой, другая кокетливой – они определенно не подходили для собора, и Йерун вдруг догадался: отец нарочно нарисовал их такими, чтобы distinguished Мелису ван Бухему не оставить никакого выбора. Он непременно выберет третью, ту, которая и Антонию больше всего по душе: отчасти она напоминала голову оленя, запутавшегося рогами в ветвях.

Разговор еще продолжался, когда Йерун откланялся и вышел на улицу. Это произошло ровно в тот самый момент, когда мимо широким бодрым шагом проходили, сталкиваясь плечами и похихатывая, оба Арифметических брата, так что Йерун наткнулся прямо на них и сказал:

– Ой!



Брат Деление тотчас посмотрел на брата Вычитание и спросил:  
– Как ты думаешь, дорогой брат, что имел в виду этот незрелый юноша, когда произносил свое «Ой»?

– Полагаю, он имел в виду некое удивление, переходящее в неудовольствие, – отвечал брат Вычитание.

– И как же нам быть? Не можем же мы ходить по улицам Хертогенбоса, вызывая неудовольствие горожан, будь они даже незрелыми юношами?

– Да, это трудный вопрос.

– Практически неразрешимый.

– Возможно, ее милость Умножение найдет ответ.

– Как говорится, дурак и жабу проглотит.

Тут оба уставились на Йеруна, а тот улыбнулся и сказал:

– Добрый сегодня день, не так ли?

– Ну вот, – после паузы произнес Йоссе ван Уккле, – теперь мне, пожалуй, стыдно, что мы так паясничали.

– Это ничего, – сказал Йерун. – День нынче не только добрый, но и ярмарочный, так что паясничать не такой уж большой грех. Вы, судя по всему, люди пришлые?

– Я из Бреды, – сказал Йоссе. – Точнее, сюда я пришел из Бреды, а так родился в Уккле, но с тех пор уже порядочно воды утекло.

– А уж сколько утекло ртути! – добавил Петер.

– Не говоря уж о пиве, – заключил Йоссе.

– А я из Маастрихта, – сказал Петер.

– Большой путь вам пришлось проделать, – заметил Йерун. – Видимо, здесь у вас какое-то важное дело, если вы решились на столь долгое путешествие?

– Дело у нас такое, что вот этот Петер, называемый иначе брат Деление, жаждет заключить союз с ее милостью Сложением и сложить с нею, так сказать, некое единое существо, как о том написано в книге «Пятнадцать радостей брака».

Некоторое время Йерун размышлял над услышанным. Сам он был еще слишком молод, чтобы подумывать о такого рода сложении, но без особого труда мог представить себе все выгоды этого состояния.

Затем спросил:

– А как зовут в мире ее милость Сложение?

– В миру ее зовут Аалт ван дер Вин, и она носит ярко-желтые башмачки, – сказал Петер.

– Я знаю, где живет Аалт ван дер Вин, – сказал Йерун, – и могу проводить вас к ней, но отвечайте по правде: действительно ли она желает совершить с вами то сложение, о котором идет речь?

– Разве есть какие-то причины сомневаться в этом? – насторожился Петер.

– Об этом и речь, – сказал Йерун. – Потому что к ней сватается Гисберт Тиссен, глава медицинской гильдии. Он хоть не первой молодости, но обладает множеством достоинств. Характер у него мягкий, состояние немалое, а внешность приятная. Помимо этого, аптекарь Спелле Смитс тоже помышляет взять ее в жены, но у Спелле нет никаких достоинств, кроме наглости, поэтому, думаю, его отвергнут.

Тут жаба высунулась из кармана Йоссе и уставилась на Йеруна немигающими глазами. Чтобы развлечь ее, Петер подал ей мятый цветок тюльпана, извлеченный из черепа Спелле Смитса, и жаба, приняв цветок передними лапками, отчасти засунула его себе в рот, после чего вновь замерла.

– Это у вас тюльпан? – спросил Йерун, впервые проявив любопытство.

– Да, и мы раздобыли его ни у кого иного, как у Спелле Смитса! – объявил Йоссе. – Причем совершенно бесплатно.

– Что ж, вам удалось то, что удавалось очень немногим, – признал Йерун. – Пойдемте, отыщем Аалт ван дер Вин. Сомневаюсь, чтобы она сидела дома. С тех пор как на ее ножках

появились эти желтые башмачки, она постоянно куда-то ходит. Служанка уже пару башмаков истоптала, а тем желтым ничего не делается.

– Это происходит по той причине, что они – залог любви, – сказал Петер. – И коли они до сих пор выглядят как новые, значит, в сердце Аалт ван дер Вин не истлела любовь и она будет рада меня видеть.

– Нам предстоит установить это эмпирическим путем, – заметил Йоссе. – Иначе дрянные из нас получатся философы.

– Вероятнее всего, мы найдем ее в торговых рядах, – сказал Йерун. – Хоть отец ее и возглавляет пятаю камеру редерейкеров и является выдающимся латинским стихотворцем и ученым, Аалт предпочитает щупать ткани, оценивать тарелки, присматриваться к ножам, щелкать пальцами по кувшинам и приближать нос к тюльпанам. Иными словами, она далека от латинской учености и близка к миру трехмерных предметов.

Получив столько ценных сведений сразу, братья Арифметики поспешили, сопровождаемые Йеруном, к торговым рядам, которые раскинулись совсем близко, на рыночной площади, как бы закупоренной с одной стороны собором Святого Иоанна, но свободно растворяющейся с другой стороны в городских улицах.

Они обошли несколько лавок, и братья убедились в том, что Йерун действительно происходит из известной семьи и что репутация у него превосходная. С ним все здоровались, передавали поклоны его батюшке и его матушке, спрашивали, как дела у Гуссена и здоров ли Ян, а то что-то в последнее время его не было видно.

На все вопросы Йерун давал подробные ответы и для каждого находил вежливые слова, причем ни разу не повторился.

И вдруг все трое одновременно увидели Аалт ван дер Вин: она стояла посреди улицы в обществе все той же рослой служанки и разговаривала со Спелле Смитсом.

Спелле, потирая исцарапанную макушку, говорил:

– Теперь, любезная Аалт, у вас нет иного пути, кроме как выйти за меня замуж. Раньше вы постоянно жили у меня в голове, но с помощью философии я избавился от этой напасти, и отныне вы можете невозбранно поселиться прямо у меня в кровати.

– Фу, какая гадость! – вскричала, едва дослушав эту тираду, Аалт ван дер Вин. – Как ваш толстый язык во рту повернулся, чтобы произнесли такое! Не желаю я жить ни в вашей голове, ни в вашей кровати!

– Не будьте опрометчивы, – сказал на это Спелле Смитс. – Ведь если вы откажетесь от любой из двух этих обителей, я поселю вас в своем животе, рядом с другими грехами, и плохо вам там придется!

– Если вы, негодяй, только посмеете поселить меня в своем премерзком пузе, – закричала, топая ногой, Аалт ван дер Вин, – то так и знайте: придет вам конец, и будет он злым-презлым! Я прогрызу дыру и выпущу на волю все ваши грехи вместе с кишками, потом выскочу сама и передавлю их своими желтыми башмачками. И останетесь вы ни с чем, Спелле Смитс, потому что только пузом и грехами вы и славны в нашем городе, а без пуза и грехов ни на что-то вы не годитесь!

Она даже покраснелась, угрожая Спелле Смитсу самыми страшными карами.

– Как хороша! – восхитился Йоссе. – С этой госпожой и Сложение пойдет на пользу, и Умножение не замедлит последовать.

Йерун купил жареных каштанов и угостил своих новых друзей, так что они с удовольствием ели каштаны на углу переулка и наблюдали, как у рядов, где продавали металлическую посуду, умножено отражаясь в боках кастрюль, сковород и горшков, бранила на чем свет стоит злополучного Спелле Смитса прекрасная Аалт ван дер Вин.

Но вот из одного переулка вышел господин прекрасного сложения, со светлыми, едва тронутыми благородной сединой волосами. Это был Гисберт Тиссен, глава медицинской гильдии.

– Как вы посмели, Спелле Смитс, докучать молодой девушке? – возмутился Гисберт.

– Вот я и говорю! – подбежала служанка, на ходу дожевывая пирожок и вытирая жирный рот. – Да как только глаза его бесстыжие не лопнут! А что он натворил-то?

Если со Спелле Смитсом Аалт ван дер Вин держалась дерзко, то при виде Гисберта Тиссена она смутилась, опустила глаза и слегка покраснела.

Она находилась в весьма затруднительном положении.

Сердце Аалт ван дер Вин по-прежнему принадлежало тому, кто надел на нее желтые башмачки. Но где он сейчас и встретятся ли они когда-нибудь? Сколько ей ждать и на что надеяться? Главная задача девушки, знаете ли, – удачно выйти замуж. А как это сделаешь, если возлюбленного нет как нет и надежда на его появление тает с каждым днем? Поэтому Аалт ван дер Вин благоразумно не спешила отказывать Гисберту Тиссену. Что касается ее отца, то он в простоте души считал этот брак делом решенным.

Не дожидаясь, пока Гисберт Тиссен начнет ей выговаривать за легкомыслие, Аалт ван дер Вин объявила:

– Хочу на овечек посмотреть!

– Да мыслимое ли дело для барышни толкаться среди скотоводов! – возмутилась служанка. – Они все чумадые, а от овец дурно пахнет.

– Но они такие хорошенькие! – возразила Аалт.

Гисберт предложил ей руку, и они чинно, ни дать ни взять супружеская пара, двинулись вдоль рядов к скотному рынку, что размещался недалеко от городских ворот.

Петер даже рот разинул, и недожеванный каштан хорошо был виден всякому, кому пришла бы охота на него взглянуть.

– Похоже, Аалт ван дер Вин действительно выходит замуж за Гисберта Тиссена, – заметил Йерун.

– Но как такое возможно, если на самом деле она любит нашего Петера? – возмутился Йоссе. – Все прочее противно небесному установлению! Потому что небесное установление в том и заключается, что мужчину влечет к женщине, и наоборот, от чего проистекают различные прекрасные вещи, в том числе музыка, а этот Гисберт хоть и приятный господин, но никакой музыки от него однозначно не проистекает.

– В таком случае догоним их и выясним всю правду, – предложил Йерун.

Йоссе сунул каштаны в карман, и все трое пошли вслед за Гисбертом и Аалт, толкаясь в толпе и поминутно наступая кому-то на ноги.

Аалт же размышляла о том, что приближается день, когда придется сказать окончательное «да» Гисберту, чего ей почему-то очень не хотелось делать, и она то погружалась в печаль, то вдруг принималась болтать о разной ерунде, а Гисберт полагал, что все это проистекает от стеснительности девичьего сердца и слабости женского ума, и в ответ лишь молча улыбался.

И вдруг перед ними предстали братья Арифметики и с ними Йерун.

– Ой, жаба! – закричала Аалт. – Она ученая? Почему на ней платье? Она кушает каштаны? А как вы ее этому научили? А она умеет что-нибудь говорить? Можно подержать ее за лапку?

Жаба молча нырнула обратно в карман Йоссе, а Петер Схейве из Маастрихта вышел вперед и проговорил:

– Должно быть, барышня Аалт ван дер Вин, вы забыли меня, если при нашей встрече так живо интересуетесь жабой.

Вместо ответа Аалт схватила его за руку и закричала:

– Бежим!

И помчалась вперед, волоча за собой Петера, а Гисберту только и оставалось, что смотреть, как мелькают в воздухе желтые башмачки.

– Вот прямо так и убежала? – переспросила Алейд ван дер Муннен, замешивая тесто. Она очень была занята на кухне, и хоть у нее были две дочери и приходящая служанка, пироги предпочитала готовить сама. Йерун стоял у нее за плечом, вытягивая пальцами маленькую колбаску из готового теста – он любил пожевать сырое. Мать не разрешала, говорила, что от колбаски сырого теста все кишки в животе склеятся между собой, и для того чтобы, их разлепить – придется съесть целый горшок свиного жира. А это очень дорого и ужасно противно.

Но Йерун и в детстве этому не верил и тихонечко, левой рукой, продолжал тягать тесто.

– Когда Аалт ван дер Вин увидела этого Петера, она даже в лице не изменилась, – сказал Йерун. – Вот это меня и убедило в истинности ее любви. Ведь если бы она была перед ним виновата, она бы сделала такое лицо, – он вытаращил глаза и раскрыл рот: как бы в ужасе. А если бы он был ей противен, она бы сделала такое лицо, – он скривил губы на сторону и прищурился. – А если бы она вообще его забыла, она бы сделала такое лицо... – Тут Йерун поджал губы и устремил взгляд куда-то на колбасу, подвешенную к потолку в углу кухни. – Но ничего подобного она не сделала.

– Что, ничуть не удивилась? – переспросила мать. – Ведь они почти год не виделись!

– Даже больше года, – подтвердил Йерун. – Но ей хоть бы хны. «Ах, – говорит, – какая милая у вас жаба в платице!»

– А у него правда была жаба в платице?

– Правда.

– Тьфу, – плюнула мать, – как можно такую мерзость при себе носить?

– Он завернул ее в листок, вырванный из книги, поэтому она не была такой уж мерзостью, – ответил Йерун.

– Ну не знаю, – сказала мать, налегая на тесто. – У них эти лапки... как у младенчиков. Нет, как у насмешки над младенчиками.

– А потом они как побегут! – сказал Йерун. – Аалт схватила Петера за руку и помчалась, как заяц от гончей.

– Ну надо же!

– Служанка – та, что вечно ходит за Аалт, – хотела было их нагнать, да куда там! Скакала и прыгала, бедная, запнулась о камень и растянулась во весь рост. Голову разбила.

– А Гисберт что?

– Гисберт же врач, он сразу начал осматривать больную, считать ей пульс и рассуждать, не следует ли применить пиявки.

– Да что с этими людьми! – в сердцах бросила Алейд. – От него невеста убежала, а он про каких-то пиявок рассуждает...

– Гисберт, скорее всего, не понимает, что Аалт убежала. Ему могло показаться, что она просто решила немножко побегать.

– А это не так? – спросила мать, внимательно всматриваясь в младшего сына.



Может быть, оттого, что Йерун был левшой, но скрывал это, он умел видеть вещи со всех сторон, то есть как справа, так и слева. Поэтому его суждения часто оказывались самыми верными.

– Аалт ни мгновения не сомневалась, – после долгого молчания сказал Йерун. – Когда она была с Гисбертом, то часто задумывалась – то ныряя в свои мысли, то выпрыгивая оттуда. А с Петером этого и в помине не было. Она просто убежала.

– Поживем – увидим, – сказала Алейд. – Не верю я, чтобы такая девушка могла поступить столь легкомысленно.

– Аалт легкомысленная, – возразил Йерун, – но этот поступок она обдумывала больше года.

Он отщипнул еще один кусочек теста, кивнул матери и вышел из кухни.

Суматоха в доме главы пятой камеры редерейкеров Гисберта ван дер Вина поднялась ближе к вечеру, когда, охая и стелая, вернулась служанка с перевязанной головой. Через пень-колоду она объяснила, что упала и ударилась, а Гисберт Тиссен оказал ей помощь и прописал микстуру ценой в целых два стювера, что говорит о ее несомненной пользе.

Все это Гисберт ван дер Вин пропустил мимо ушей, потому что хотел знать главное: где Аалт, где его дорогая звездочка, где любимая и единственная дочь?

На это служанка отвечала, что произошла необъяснимая вещь.

– И лично я грешу на эти самые желтые башмачки, – добавила она, – потому что они, скорее всего, заколдованные. Недаром она их носит не снимая, а им и сносу нет, все как новые. Это неспроста. И началось-то все в Маастрихте, когда она зашла в ту сапожную лавку и повстречала там того подмастерья... Хотя, если припомнить, он даже не подмастерье, а ученик. Взрослый уже парень, а все в учениках ходил – о чем это говорит? Да о том, что бестолочь он! А если и не бестолочь, то невезучий. Зачем ей, спрашивается, невезучий, когда в мире полно везучих?

– Погоди, о чем ты говоришь? – остановил служанку Гисберт ван дер Вин. – Кого она встретила?

– Да башмачника этого, ученика, недотепу! – в сердцах отвечала служанка. – А он возьми да надень на нее эти башмачки. Тут-то ее сердечко к нему, видать, и прикипело. Колдовство все это, вот что я скажу.

– Разве мужчины бывают ведьмами? – удивился Гисберт ван дер Вин. – Сколько слышал, только женщины этим занимаются.

– Тьфу, тьфу, тьфу, отыди нечистый дух! – начала плевать вокруг себя служанка. – Мужчины-ведьмы называются колдуны, и среди башмачников их, скажу я вам, полным-полно! Еще среди портных бывают, но эти вообще дурные люди, ибо крадут обрезки тканей, а потом шьют из них пестрые наряды для шутов и шутовских обезьян и прочих зверей, тьфу, тьфу, тьфу!

– Хочешь сказать, дочь моя с первого взгляда влюбилась в башмачника из Маастрихта? – не веря своим ушам, переспросил глава пятой камеры редерейкеров.

– Тьфу, тьфу, тьфу! – не унималась служанка. – Храни нас, Пречистая Дева!

– И теперь она этого башмачника увидела на городской площади?

– Прямо посреди рынка, – подтвердила служанка.

– И он ее похитил?

– Да какое там! Это она как схватит его за руку! Где это вы, говорит, пропадали, мой любезный суженый? Я уж вас жду-пожду, чуть было замуж не вышла, а вы в дальних краях бродите?

– Тьфу! – плюнул тут и Гисберт ван дер Вин. – Сама ему так и сказала?

– Да!

– И за руку сама схватила?

– В точности так и было.

– И за собой потащила?

– Да провалиться мне в ад, если все не так случилось!

– А ты-то где была?

– Так погналась за ними, но споткнулась и разбила голову. Гисберт Тиссен, да хранит его святой Лука и все остальные святые, прописал мне микстуру за два стювера, вот извольте оплатить...

– А он-то почему за ними не погнался? – продолжал допытываться Гисберт ван дер Вин. Служанка поморгала, как курица, а потом вздохнула:

– Я так думаю, хозяин, дело все в том, что господин Гисберт слишком рассудительный человек. Он и рассудил, что Аалт побегаёт да вернется. А я вам точно говорю: не вернется она. Кто так бежит, тот назад не оборачивается. Это как с плугом: руку на плуг положил – и пошел пахать только вперед. Назад уж дороги не будет. В Писании вся правда написана, и потому не видать нам больше нашей ласточки. Улетела вместе со злым колдуном, с башмачником из Маастрихта.

– Нет уж! – объявил глава пятой камеры редерейкеров. – Я этого так не оставлю.

И, взяв трость, отправился в ратушу.

Городская стража была поднята на ноги незадолго до момента, когда колокол Святого Иоанна отзвонил последний час. Везде топали сапоги и гремели алебарды – нет от них спасения. В тесных переулках, правда, стражникам было не протолкнуться: повсюду их хватили за рукава горожане и допытывались: что такого случилось? На самом деле, все боялись пожара. Поэтому несколько раз из верхних окон на стражу выплескивались ведра воды. Стражники, все понимая, нимало не обижались: никому не хотелось повторения того, что случилось семь лет назад. А лишнее ведро воды в такой ситуации никому не повредит. Вот так все рассуждали.

Аалт бежала и бежала, вихляя из переулка в переулок, а Петер и Йоссе бежали вслед за ней. Плохо было то, что оба они совершенно не знали Хертогенбос, а Аалт была девушкой из высшего сословия, потому не разбиралась в здешних значных местах и темных углах; гулять-то она гуляла, но только по главной площади и перед собором, и иногда немножко по улицам, отходящим от собора, но совсем недалеко.

Поэтому они не знали толком, куда бегут, и несколько раз возвращались к одному и тому же месту.

Наконец они устали и остановились у маленького колодца, чтобы перевести дух.

Стража грохотала где-то на соседней улице, поэтому следовало принять решение как можно быстрее.

– Есть два пути, – сказал Йоссе. – И один из них – нам с Петером спрятаться, а Аалт пусть выйдет навстречу страже и расскажет, что ее хотели похитить. Это немножко опасно для нас, но мы люди в городе неизвестные и вряд ли нас кто-нибудь опознает, если мы поменяем одежду.

– Как же! – возразил Петер. – После того, как мы извлекли глупость в форме тюльпана из головы этого Спелле Смитса, в Хертогенбосе нас узнает любой дурак.

– Это правда, ибо подобное притягивается к подобному, а глупость – к глупости, – со вздохом признал Йоссе. – Да и возвращать Аалт ее пожилому жениху было бы противно всяческой философии.

– Да это вообще противно, – сказала Аалт. – Давайте другой способ, да поскорее.

– Другой способ тот, чтобы бегать кругами всю ночь, а наутро попытаться покинуть город, забравшись в чью-нибудь телегу.

– Такой способ мне нравится больше, – сказала Аалт. – Ну, желтые мои башмачки, – обратилась она к своим ногам, – много ли еще мы с вами выдержим?

И они снова побежали по городу, петляя и запутываясь, погружаясь в улицы и вываливаясь из них.

Тем временем стража расцветилась факелами, а из каждого окна кто-нибудь да высовывался и кричал:

– Они, вроде, туда побежали!

– Нет, они в другую сторону побежали!

– Да что вы говорите, кума, я собственными ушами слышал, как они ругаются в том переулке!

– Это хромой Ян со своей Хелин ругался, они как с утра начали, так остановиться не могут.

– А я вам говорю, топот этих желтых башмаков ни с чем не перепутаешь, и они потопали в ту сторону!

Вот так высовывались горожане, а свет факелов мазал по стенам и тревожил воспоминания о том давнем пожаре. И хорошо бы уже всем пойти спать и погасить эти чертовы факелы, пока в самом деле не начался новый пожар.

В конце концов только трое самых упорных стражников остались и только один факел горел в руке у самого упорного из этих упорных.

Они тихо шли по улицам, стараясь не стучать и не греметь, и уже не наводили страх, а просто подкрадывались. Ибо мышь, по мнению этой кошки, была достаточно измучена и наверняка пряталась где-то поблизости. Если убедить ее в том, что опасность миновала, она, глядишь, и высунется.

Петер и впрямь впал в уныние. «Легко хранить верность философии и оставаться невозмутимым, – думал он, поглядывая на Йоссе. – Когда из всего имущества у тебя – пара монет в кармане да жаба в платице, и терять тебе нечего. Ну, отрубят тебе голову или повесят за колдовство – что с того? Много ли оставишь ты на земле такого, о чем стоило бы жалеть? А там, глядишь, попадешь в какое-нибудь другое место, познакомишься с другими грешниками. Вряд ли Йоссе нагрешил настолько, чтобы его сварили в котле или где-нибудь подвесили... Но у меня-то совсем другая история. У меня есть Аалт и великая любовь к ней, и погибать мне совершенно не нужно».

Тут стена дома, возле которого они притулились, вдруг шевельнулась, оказавшись дверью, на пороге появился юноша и тихим голосом произнес:

– Входите.

В маленькой комнатке было темно. Но вот затеплилась крошечная лампадочка, и выступило из темноты серенькое неприметное лицо Стааса Смулдерса.

Со стоном Аалт так и повалилась на пол. Петер прислонился к стене плечом, он дышал ртом и едва держался на ногах. Йоссе же, которому и в самом деле было нечего терять, стоял у двери, в любой момент готовый выскочить наружу или подраться.

Стаас снял тяжелый плащ, висевший на стене, и подложил Аалт под голову. Она проворчала что-то и завернулась в плащ, как гусеница.

Петер спросил у Стааса:

– Ты кто?

– Стаас Смулдерс, – сказал Стаас Смулдерс.

– Мы где?

– В доме моего хозяина, стеклодува Кобуса ван Гаальфе.

– А еще где?

– Это мастерская.

– А ты сам кто?

– Стаас Смулдерс.

– А еще кто?

– Сирота.

- А еще?
- Ученик стеклодува.
- Почему ты нам помог?
- Разве я вам помог?
- Зачем ты нас сюда впустил?
- Не знаю, – сказал Стаас. – Само как-то случилось.
- В таком случае раздобудь для нас воды, а если найдется поесть – будет еще лучше, – сказал Петер.
- Если я это сделаю – в доме услышат.
- Тогда не нужно, – простонала Аалт. – Я лучше полежу голодная, чем опять буду бегать по городу.

Стаас долго смотрел то на Аалт, которая так устала, что даже заснуть не могла, то на Петера, который так был взбудоражен, что даже сесть не мог.

Потом спросил:

- А это правда, что башмачки на барышне заколдованные?
- Так ты для этого нас впустил? – возмутился Йоссе. – Не ради милосердия, не ради снисхождения к великой любви этого мужчины и этой женщины, а ради своего пустого любопытства?
- Стеклодув выдувает стеклянные сосуды, которые сами по себе пусты, – сказал Стаас. – В этом суть нашего ремесла. Как же мое любопытство не может быть пустым?
- Что ж, в этом есть смысл, – признал Йоссе, философ из Уккле. – Продолжай.
- Я уже задал мой вопрос, – напомнил Стаас Смулдерс.
- Я бы сказал тебе, что никакого колдовства в желтых башмачках нет, – отвечал Петер, – но, по правде говоря, теперь в этом совсем не уверен.

Аалт слабо дернула ногой, словно в знак протеста.

– Если колдовство и было, то нам об этом ничего не известно, – уточнил Йоссе. – Существует ли в самом деле колдовство в любви между мужчиной и женщиной?

Стаас склонил голову набок, рассматривая Аалт.

- Никогда не видел эту барышню так близко, – проговорил он наконец. – Только слухи о ней доходили, да иногда вдаль можно было посмотреть, как она мелькает со своей служанкой. Он сел на корточки и уставился Аалт в лицо.
- Не очень-то вежливо так глазеть на барышню, – возмутился Петер.
- С нее не убудет, – отвечал Стаас. – Я же ничего у нее не отберу, если только полюбуюсь на нее, а мне, глядишь, прибавится.

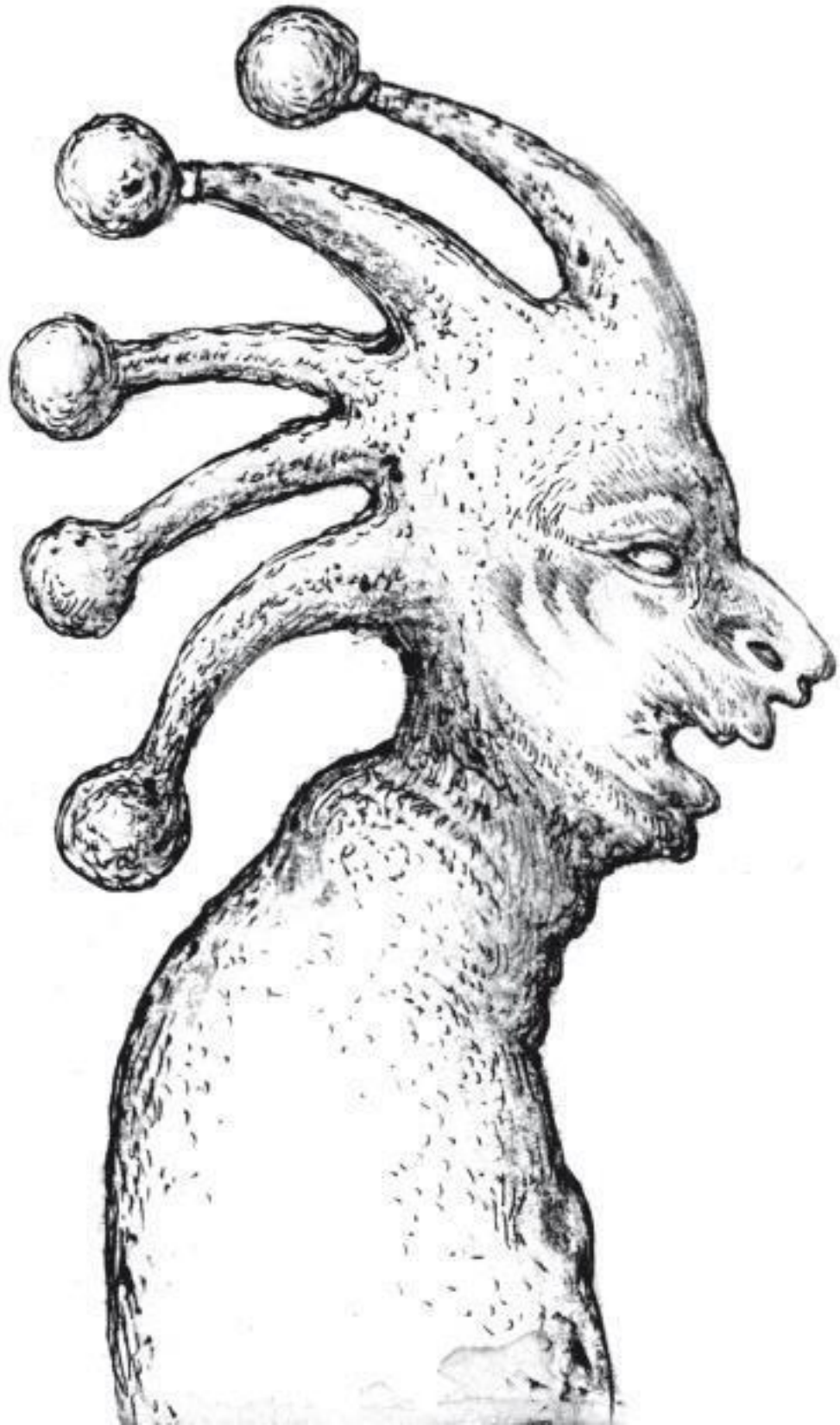
– Какой прелюбопытный казус, – восхитился Йоссе. – Одной лишь арифметикой, даже и метафизической, его не разрешишь. Ведь если к одному человеку что-либо прибавится, это означает, что от другого человека что-нибудь вычтется. Взять, к примеру, деньги. – Он коснулся пояса. – Если у меня появился гульден, это означает, что Спелле Смитс лишился гульдена. Иными словами, Сложение всегда предполагает Вычитание и наоборот.

– Слишком мудрено, – вздохнул Стаас.

- А между тем ты в простоте открыл такое действие Арифметики, какое в нашем падшем мире невозможно, и это – Сложение без Вычитания или даже Умножение без Деления.
- И что все это значит? – обеспокоился Стаас.
- Что ты добрый малый, – ответил Йоссе.

Наутро стеклодув Кобус ван Гаальфе спустился в мастерскую и сам отворил ставни, потому что негодник Стаас проспал, и из-за него проспали все остальные.

И что же увидел Кобус ван Гаальфе?



Посреди мастерской в воздухе висел, покачиваясь, большой стеклянный шар. Он был совершенно прозрачным и определенно сделан из наилучшего стекла, которое не только не трескается в огне, но и не сразу бьется, упав на землю. В воздухе оно летает, а в воде плавает.

Иными словами, это стекло превосходно приспособлено к существованию во всех четырех стихиях.

Внутри этого покачивающегося шара лежали, обнявшись, мужчина и женщина. Оба они были голыми, без единой нитки одежды на теле, но это никого не смущало, даже постороннего зрителя, ибо они были обнажены не так, как обнажаются в спальне или бане, но как обнажаются в раю или в аду. Мужчина показался Кобусу незнакомым, но в женщине он сразу же узнал Аалт ван дер Вин.

Когда Кобус раскрыл дверь своей мастерской и впустил в нее воздух с улицы, шар стронулся с места и медленно проплыл к выходу. Ненадолго он задержался над улицей, а потом не спеша устремился вверх и уплыл в голубое небо, раскинувшееся над благословенным Бранбантом.

Платье и желтые башмачки Аалт ван дер Вин остались валяться на полу, как сброшенная оболочка, а рядом, разметавшись на лучшем плаще мастера Кобуса, сном праведника спал какой-то незнакомец. На животе у него сидела жаба в платье и, выстреливая языком, ловила насекомых.

Из угла выполз на четвереньках Стаас, и Кобус напустился на него с криком:

– Что ты тут натворил? Кто этот человек? Почему здесь башмачки?

Стаас проморгался и ответил невпопад:

– Ох, хозяин, далеко может человека завести арифметика!



## Часть третья «Корабль дураков»

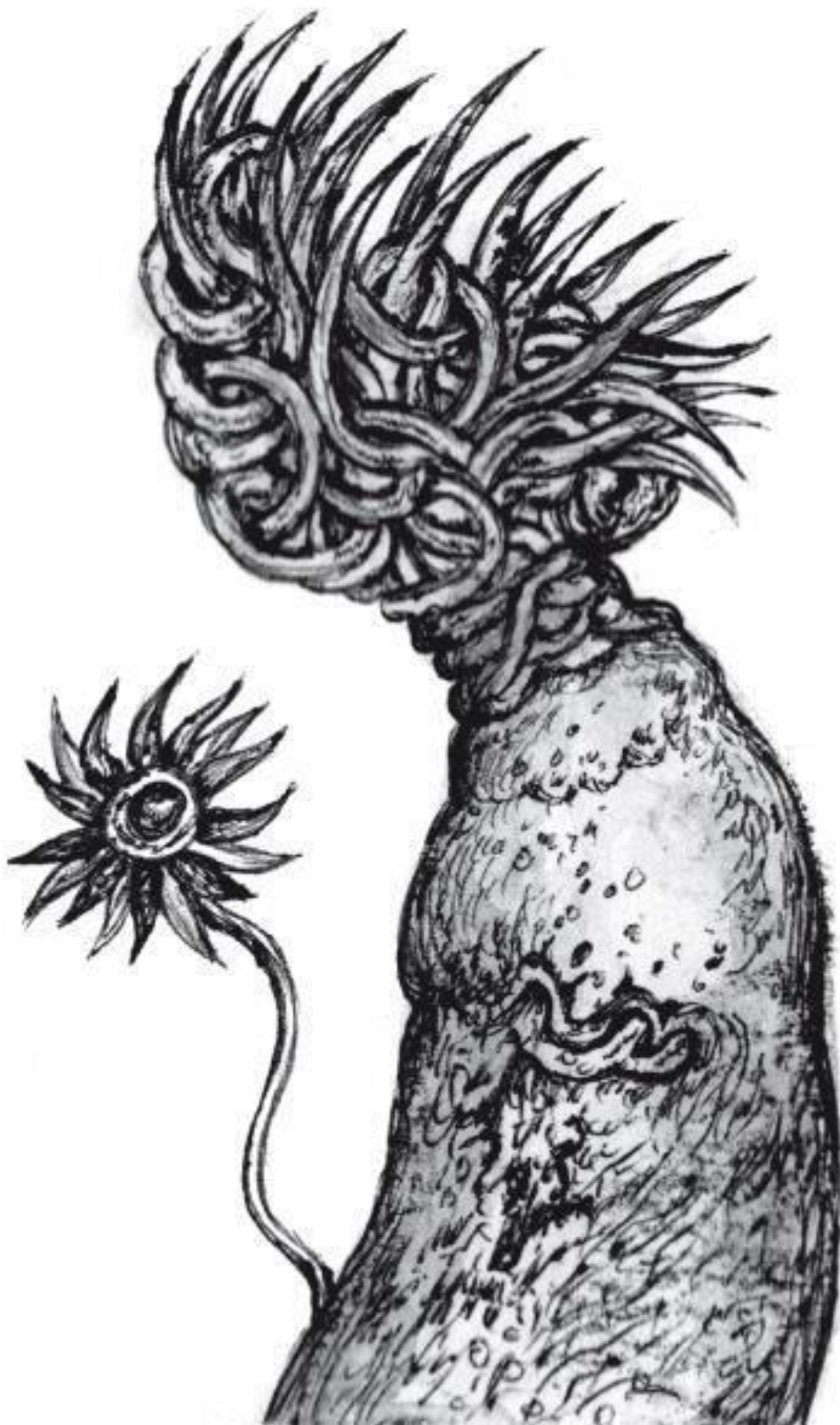


*Из записок Сарториуса, основателя братства Небесного Иерусалима Святого Иоанна Разбойного*

## **Гибель стихов**

Гисберт ван дер Вин никак не мог отменить празднество, организуемое пятой камерой редерейкеров, которых он был почтенным главой.

Редерейкеры, или риторы, отвечали в Хертогенбосе за красоту и сохранность латинской поэзии и разделялись на пять камер. Время от времени они собирались перед ратушей, где происходили громкие чтения латинских стихов с комментариями и назидательные представления, долженствующие обратить народ к помыслам о благочестии, Страшном Суде, небесной каре за грехи и других полезных вещах.



После того как Аалт ван дер Вин, сбросив с себя прежнюю оболочку, улетела в прозрачном шаре вместе со своим возлюбленным, Гисберт долго не мог прийти в себя. Помимо того, что это происшествие отчасти покрыло его позором, он просто-напросто любил свою дочь и желал ей всего самого лучшего. А полет в стеклянном сосуде, голой и в обнимку с проходим-

цем, вряд ли можно считать наилучшей участью для девушки из хорошей семьи. Однако поделаться со случившимся Гисберт ничего не мог, и это разбивало ему сердце.

Спелле Смитс навестил Гисберта, когда тот лежал в глубокой печали у себя в доме. Он принес безутешному отцу окаменевший помет оленя, имеющего тринадцать ветвей на рогах, а это – наилучшее лекарство от отцовской скорби.

– Его надо растолочь и выпить с красным вином, – объяснил Спелле. – Верное средство. Многих отцов поставило на ноги после замужества их дочерей. Особенно, знаете, когда дочь уезжает в другой город... очень хорошо действует.

– Говорят, камень глупости из твоей головы вынули, так ты принес мне другой, вытащив его из своей задницы? – спросил Гисберт.

– Из головы моей вынули тюльпан, – обиделся Спелле. – Это видели все в таверне Яна Масса.

– Убирайся со своим камнем! – закричал Гисберт слабым голосом. – Не смог удержать мою дочь, а теперь приносишь мне в виде утешения оленьи дерьмо!

Спелле обиделся и ушел.

Потом к Гисберту ван дер Вину пришел Гисберт Тиссен. Он выглядел глубоко опечаленным и принес с собой медовую настойку на травах, составленную в полном согласии с рекомендациями книги Петера Шеффера *Hortus Sanitatis*, или «Сад здоровья».

– Не могу поверить, что она выбрала какого-то голодранца! – сказал Гисберт Тиссен, наливая настойку сперва Гисберту ван дер Вину, а потом себе.

– Да кому бы в голову пришло подобное! – подхватил Гисберт ван дер Вин, опрокидывая стаканчик из красивого зеленого стекла и вытирая губы. – Кто он вообще такой, этот башмачник из Маастрихта?

– Может, он и правда колдун?

– Ох, лучше молчите об этом, дорогой друг... Да, пожалуйста, еще половинку стаканчика... Ну хорошо, целый... Ведь если башмачник и впрямь колдун, то это превращает мою Аалт в жертву колдуна, а жертв колдунов отправляют туда же, куда и самих колдунов!

– Скорее всего, он просто башмачник, – утешительным тоном произнес Гисберт и приступил к третьему стаканчику.

– Но почему же она предпочла его вам, да еще выразила свое предпочтение в такой неподобающей форме? – простонал Гисберт ван дер Вин и оросил свою печаль третьим стаканчиком.

– Возможно, в Бургундии теперь так принято, – предположил Гисберт Тиссен. – Возможно, это иносказательный и отчасти кургуазный способ предпочесть одного жениха другому. Но, конечно, все это не отменяет того факта, что избранник вашей дочери – голодранец и сомнительный тип, в то время как я – человек с доходами и репутацией.

– Все это несомненный признак скорого конца света, – подытожил Гисберт ван дер Вин и допил настойку.

Несмотря на все эти события, день святого Бавона, на который был назначен праздник редерейкеров, неуклонно приближался, о чем свидетельствовали покрасневшие и пожелтевшие листья некоторых деревьев. Другие листья оставались еще зелеными, но это никого не сбивало с толку. В дом под вывеской *In Sint Thoenis*<sup>5</sup>, то есть находящийся под покровительством Святого Антония, иначе говоря – к Тенису ван Акену, зачастил глава пятой камеры, поскольку сбежавшая дочь – сбежавшей дочерью, но праздник латинской поэзии с нравоучительными театральными сценами надлежало оформить наилучшим образом. Так что они подолгу обсуждали, как будет выглядеть одежда различных аллегорических фигур, таких как

---

<sup>5</sup> У Святого Антония (лат.).

Поэзия, Добродетель, Любопытство, Арифметика, Медицина, Богословие, Пустословие, Чревоугодие, Добрый Самаритянин и Праматерь Рахиль. Кроме того, следовало подготовить для них достойные вместилища, которые размещались бы на телегах с тем, чтобы при большом скоплении народа торжественно прибыть на место действия, каждый раз возобновляя всеобщее восхищение своим поразительным видом. Все они должны были затем сойтись в остроумном споре, где победа заранее была присуждена Богословию и Добродетели, а из людей – Доброму Самаритянину. В перерывах между этими спорами должны были выступать редерейкеры со своими новыми творениями.

– Преклоняюсь перед вашим мужеством и чувством долга, почтенный Гисберт, – сказал Тенис ван Акен, собирая в трубку все многочисленные эскизы, одобренные главой. – Нет другого выхода, просто нет другого выхода, – вздохнул Гисберт ван дер Вин. – Все мы заперты в этой прискорбной действительности, а выход из нее только один – в смерть, куда никто из нас не торопится, ибо это грешно.

– Истинно так, – подтвердил Тенис.

– Вот что беспокоит меня, – продолжил Гисберт, – так это некоторые разговоры.

– Разговоры, почтенный Гисберт? – переспросил Тенис.

– Да, доходили до меня слухи, будто вашего младшего сына видели рядом с этими бродягами, которые... которые... ну, вы меня поняли, кто они такие, эти «которые».

– Возможно, мой младший сын и гулял по рыночной площади, что неудивительно, поскольку наш дом стоит прямо на этой площади и, таким образом, его невозможно покинуть, не очутившись прямо на этой площади, – возразил Тенис, – но это еще не означает, что он якшался с бродягами, которые совершили, сами понимаете, какое неблагоприятное деяние.

– И тем не менее достойные доверия люди утверждают, что Йерун ван Акен вместе с теми двумя, извлекаями тюльпан глупости из головы Спелле Смитса, ел жареные каштаны и вел с ними дружеские разговоры.

– И кто же эти достойные доверия люди? – сощурился Тенис.

– Ваутер Ваутерс, продавец капусты – самый осведомленный из всех городских торговцев, – ответил Гисберт. – И это не удивительно, ибо капуста более других овощей напоминает человеческую голову, так что тот, кто торгует ею, несомненно, владеет не одной головой, а по крайней мере десятком. Поэтому он лучше всех знает, что происходит на рыночной площади. К тому же и прилавок его с краю, откуда лучше обзор.

– Резонно, – поразмыслив, кивнул Тенис. – И что же утверждает Ваутер Ваутерс?

– То, что Йерун ван Акен дружески разговаривал с теми бродягами, ел с ними каштаны, а потом куда-то пошел.

– Возможно, Йерун общался с ними до того, как они совершили свое злобное деяние, то есть на тот момент, когда они вместе ели каштаны, те бродяги еще не были настолько злокозненны, насколько стали впоследствии, когда совершили похищение Аалт ван дер Вин. К тому же, как утверждает торговка репой, а она чрезвычайно осведомленная женщина, Аалт ван дер Вин сама схватила одного из бродяг за руку.

– Разумеется это неправда, – сказал Гисберт ван дер Вин.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.